

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  БОЛЬШИЕ КНИГИ

Василий
Гроссман

ЖИЗНЬ
И СУДЬБА

« А З Б У К А »

18+



Сталинград

Василий Гроссман

Жизнь и судьба

«Азбука»

1960

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Гроссман В. С.

Жизнь и судьба / В. С. Гроссман — «Азбука»,
1960 — (Сталинград)

ISBN 978-5-389-28194-3

Пронзительную, безысходную правду о жизни людей и мира рассказал в романе-эпопее «Жизнь и судьба» безжалостный и отважный писатель Василий Гроссман. Лучшие герои этой книги неизбежно попадают между двух огней: сражаясь с фашизмом, защищают сталинскую систему, но существенно ли различаются немецкий лагерь и Лубянка?.. Из последних сил люди воюют за свободу и справедливость, но наступят ли они после победы?.. История об освободительной войне ради нового рабства вышла из-под пера Гроссмана вопреки осторожности и инстинкту самосохранения: более полувека назад роман арестовали, и это укоротило автору жизнь. Сегодня его книга, получившая мировую известность, читается как суровый гимн подлинной свободе – свободе духа, сохранение которой составляет основу человеческого бытия, а утрата означает неизбежную смерть.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-28194-3

© Гроссман В. С., 1960

© Азбука, 1960

Содержание

Автобиография	6
Жизнь и судьба	8
Часть первая	9
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Василий Гроссман

Жизнь и судьба

© В. С. Гроссман (наследники), 2025

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

* * *

Автобиография

Я родился в 1905 году, 12 декабря, в г. Бердичеве на Украине. Отец мой по профессии инженер-химик – в настоящее время живет в Москве, пенсионер. Мать моя учительница, преподавала иностранные языки – французский. Она погибла во время войны, в сентябре 1941 года.

Когда мне было 5 лет, я вместе с матерью поехал в Швейцарию, прожил там до семилетнего возраста, учился в начальной школе, в 1914 году я поступил в подготовительный класс Киевского реального училища 1-го общества преподавателей, но в годы Гражданской войны уехал с матерью в г. Бердичев, где учился и работал пильщиком дров.

В 1921 году я поступил на подготовительный курс Киевского высшего института народного образования, где и проучился до 1923 года.

В 1923 году я перевелся в 1-й Московский университет на химическое отделение физико-математического факультета. В 1929 году я закончил университет. Во время учебы я пользовался материальной поддержкой родителей и частично зарабатывал сам: работал воспитателем в коммуне беспризорных детей, давал уроки. В 1929 году по окончании университета я поехал в Донбасс и поступил на работу в Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности горных работ, заведовал химической (газоаналитической) лабораторией на шахте Смолянка II. В Донбассе я прожил по 1933 год – работал помимо Макеевского института в Донецком областном институте патологии и гигиены труда в химической лаборатории – старшим научным сотрудником, а затем ассистентом кафедры химии в Сталинском медицинском институте (г. Сталино). За время пребывания в Донбассе мной были сделаны несколько научных работ, посвященных происхождению и выделению ядовитых газов в каменноугольной выработке. В 1933 году я переехал в Москву и стал работать старшим химиком, а затем заведующим лабораторией и помощником главного инженера на карандашной фабрике им. Сакко и Ванцетти. На фабрике я проработал до 1934 года.

В апреле 1934 года в «Литературной газете» был опубликован мой рассказ «В городе Бердичеве». В мае 1934 года меня вызвал к себе А. М. Горький. Встреча с Горьким определила мое решение стать писателем. В том же году А. М. Горький опубликовал в альманахе «Год XVI» мою повесть «Глюкауф», посвященную шахтерам Донбасса. Я начал работать над книгой рассказов. С 1934 по 1936 год мною было выпущено две книги рассказов – «Счастье» и «Четыре дня».

В 1936 году я начал работу над романом «Степан Кольчугин». Работа эта заняла у меня четыре с лишним года. Работу над романом я не довел до конца, этому помешала война. «Степан Кольчугин» печатался в Гослитиздате и в Детгиздате, а также в «Роман-газете». В послевоенное время он также издавался дважды.

Летом 1941 года я был мобилизован в армию, мне было присвоено звание интенданта 2-го ранга. Я был назначен на работу в редакцию «Красная звезда» на должность специального корреспондента. Жена моя с сыновьями выехала в эвакуацию в г. Чистополь. Там в 1942 году погиб от взрыва снаряда во дворе военкомата старший сын Михаил.

Я был направлен на Центральный фронт в августе 1941 года. Проработал я в редакции «Красной звезды» на протяжении всей войны и был демобилизован осенью 1945 года. На протяжении войны мной было написано несколько рассказов, много очерков и одна повесть «Народ бессмертен». Почти все написанное мной публиковалось в газете «Красная звезда», а затем выходило в сборниках и отдельных изданиях: «Народ бессмертен», книга очерков «Сталинград», книжки «Треблинский ад», «Жизнь», «Советский офицер» и др.

В 1946 году вышла моя книга «Годы войны», где собраны произведения, написанные за время моей военной корреспондентской работы.

В 1947 году была опубликована в журнале «Знамя» моя пьеса «Если верить пифагорейцам», получившая отрицательную оценку в критике. Пьеса эта была написана мной до войны. В 1945 году я взял на себя редактирование «Черной книги» о массовом убийстве евреев немецкими фашистами.

Моей основной, главной работой в послевоенное время было написание романа, посвященного Великой Отечественной войне. Работу эту я начал еще во время войны, посвятил ей восемь лет. В настоящее время первый том этой книги объемом 40 печатных листов сдан мной в редакцию журнала «Новый мир». Я продолжаю работу над вторым томом романа.

9 мая 1952 г.

Жизнь и судьба

Посвящается моей матери Екатерине Савельевне Гроссман

Часть первая

1

Над землей стоял туман. На проводах высокого напряжения, тянувшихся вдоль шоссе, отсвечивали отблески автомобильных фар.

Дождя не было, но земля на рассвете стала влажной, и, когда вспыхивал запретительный светофор, на мокром асфальте появлялось красноватое расплывчатое пятно. Дыхание лагеря чувствовалось за много километров – к нему тянулись, всё сгущаясь, провода, шоссе и железные дороги. Это было пространство, заполненное прямыми линиями, пространство прямоугольников и параллелограммов, рассекавших землю, осеннее небо, туман.

Протяжно и негромко завывали далекие сирены.

Шоссе прижалось к железной дороге, и колонна автомашин, груженных бумажными пакетами с цементом, шла некоторое время почти на одной скорости с бесконечно длинным товарным эшеленом. Шоферы в военных шинелях не оглядывались на идущие рядом вагоны, на бледные пятна человеческих лиц.

Из тумана вышла лагерная ограда – ряды проволоки, натянутые между железобетонными столбами. Бараки тянулись, образуя широкие, прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.

В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразличимо схожих. Все живое – неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника... Жизнь глохнет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности.

Внимательный и небрежный глаз седого машиниста следил за мельканием бетонных столбиков, высоких мачт с вращающимися прожекторами, бетонированных башен, где в стеклянном фонаре виднелся охранник у турельного пулемета. Машинист мигнул помощнику, паровоз дал предупредительный сигнал. Мелькнула освещенная электричеством будка, очередь машин у опущенного полосатого шлагбаума, бычий красный глаз светофора.

Издали послышались гудки идущего навстречу состава. Машинист сказал помощнику:

– Цуккер идет, я узнаю его по бедовому голосу, разгрузился и гонит на Мюнхен порожняк.

Порожний состав, грохоча, встретился с идущим к лагерю эшеленом, разодранный воздух затрещал, заморгали серые просветы между вагонами, вдруг снова пространство и осенний утренний свет соединились из рваных лоскутов в мерно бегущее полотно.

Помощник машиниста, вынув карманное зеркальце, поглядел на свою запачканную щеку. Машинист движением руки попросил у него зеркальце.

Помощник сказал взволнованным голосом:

– Ах, геноссе Апфель, поверьте мне, мы могли бы возвращаться к обеду, а не в четыре часа утра, выматывая свои силы, если б не эта дезинфекция вагонов. И как будто бы дезинфекцию нельзя производить у нас на узле.

Старику надоел вечный разговор о дезинфекции.

– Давай-ка продолжительный, – сказал он, – нас по дают не на запасный, а прямо к главной разгрузочной площадке.

2

В немецком лагере Михаилу Сидоровичу Мостовскому впервые после Второго конгресса Коминтерна пришлось всерьез применить свое знание иностранных языков. До войны, живя в Ленинграде, ему не часто приходилось говорить с иностранцами. Ему теперь вспомнились годы лондонской и швейцарской эмиграции, там, в товариществе революционеров, говорили, спорили, пели на многих языках Европы.

Сосед по нарам, итальянский священник Гарди, сказал Мостовскому, что в лагере живут люди пятидесяти шести национальностей.

Судьба, цвет лица, одежда, шарканье шагов, всеобщий суп из брюквы и искусственного саго, которое русские заключенные называли «рыбий глаз», – все это было одинаково у десятков тысяч жителей лагерных бараков.

Для начальства люди в лагере отличались номерами и цветом матерчатой полоски, пришитой к куртке: красной – у политических, черной – у саботажников, зеленой – у воров и убийц.

Люди не понимали друг друга в своем разноязычии, но их связывала одна судьба. Знатоки молекулярной физики и древних рукописей лежали на нарах рядом с итальянскими крестьянами и хорватскими пастухами, не умеющими подписать свое имя. Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и тревожил экономку своим плохим аппетитом, и тот, кто ел соленую треску, рядом шли на работу, стуча деревянными подошвами, и с тоской поглядывали – не идут ли *Kosträger* – носильщики бачков, – «костриги», как их называли русские обитатели блоков.

В судьбе лагерных людей сходство рождалось из различия. Связывалось ли видение о прошлом с садиком у пыльной итальянской дороги, с угрюмым гулом Северного моря или с оранжевым бумажным абажуром в доме начальствующего состава на окраине Бобруйска, – у всех заключенных до единого прошлое было прекрасно.

Чем тяжелей была у человека долагерная жизнь, тем ретивей он лгал. Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы: человек вне лагеря не может быть несчастлив...

Этот лагерь до войны именовался лагерем для политических преступников.

Возник новый тип политических заключенных, созданный национал-социализмом, – преступники, не совершившие преступлений.

Многие заключенные попали в лагерь за высказанные в разговорах с друзьями критические замечания о гитлеровском режиме, за анекдот политического содержания. Они не распространяли листовок, не участвовали в подпольных партиях. Их обвиняли в том, что они бы могли все это сделать.

Заключение во время войны военнопленных в политический концентрационный лагерь являлось также нововведением фашизма. Тут были английские и американские летчики, сбитые над территорией Германии, и представлявшие интерес для гестапо командиры и комиссары Красной армии. От них требовали сведений, сотрудничества, консультаций, подписей под всевозможными декларациями.

В лагере находились саботажники – прогульщики, пытавшиеся самовольно покинуть работу на военных заводах и строительствах. Заключение в концентрационные лагеря рабочих за плохую работу было также приобретением национал-социализма.

В лагере находились люди с сиреневыми лоскутами на куртках – немецкие эмигранты, уехавшие из фашистской Германии. И в этом было нововведение фашизма – покинувший Германию, как бы лояльно он ни вел себя за границей, становился политическим врагом.

Люди с зелеными полосами на куртках – воры и взломщики – были в политическом лагере привилегированной частью; комендатура опиралась на них в надзоре над политическими.

Во власти уголовного над политическим заключенным также проявлялось новаторство национал-социализма.

В лагере находились люди такой своеобразной судьбы, что не было изобретено цвета лоскута, отвечающего подобной судьбе. Но и индусу, заклинателю змей, персу, приехавшему из Тегерана изучать германскую живопись, китайцу, студенту-физику, национал-социализм уготовил место на нарах, котелок баланды и двенадцать часов работы на плантаже.

Днем и ночью шло движение эшелонов к лагерям смерти, к концентрационным лагерям. В воздухе стояли стук колес, рев паровозов, гул сапог сотен тысяч лагерников, идущих на работу с пятизначными цифрами синих номеров, пришитых к одежде. Лагеря стали городами Новой Европы. Они росли и ширились, со своей планировкой, со своими переулками и площадями, больницами, со своими базарами-барахолками, крематориями и стадионами.

Какими наивными и даже добродушно-патриархальными казались ютившиеся на городских окраинах старинные тюрьмы в сравнении с этими лагерными городами, по сравнению с багрово-черным, сводившим с ума заревом над кремационными печами.

Казалось, что для управления громадой репрессированных нужны огромные, тоже почти миллионные армии надсмотрщиков, надзирателей. Но это было не так. Неделями внутри барачков не появлялись люди в форме СС! Сами заключенные приняли на себя полицейскую охрану в лагерных городах. Сами заключенные следили за внутренним распорядком в бараках, следили, чтобы к ним в котлы шла одна лишь гнилая и мерзлая картошка, а крупная, хорошая отсортировывалась для отправки на армейские продовольственные базы.

Заключенные были врачами, бактериологами в каторжных больницах и лабораториях, дворниками, подметавшими каторжные тротуары, они были инженерами, дававшими каторжный свет, каторжное тепло, детали каторжных машин.

Свирепая и деятельная лагерная полиция – капо, носившая на левых руках широкую желтую повязку, лагерэльтеры, блокэльтеры, штубенэльтеры – охватывала своим контролем всю вертикаль лагерной жизни, от общелагерных дел до частных событий, происходящих ночью на нарах. Заключенные допускались к сокровенным делам лагерного государства – даже к составлению списков на селекцию, к обработке подследственных в дункелькамерах – бетонных пеналах. Казалось, исчезни начальство, заключенные будут поддерживать ток высокого напряжения в проволоке, чтобы не разбежаться, а работать.

Эти капо и блокэльтеры служили коменданту, но вздыхали, а иногда даже и плакали по тем, кого отводили к кремационным печам... Однако раздвоение это не шло до конца, своих имен в списки на селекцию они не вставляли. Особо зловещим казалось Михаилу Сидоровичу то, что национал-социализм не приходил в лагерь с моноклем, по-юнкерски надменный, чуждый народу. Национал-социализм жил в лагерях по-свойски, он не был обособлен от простого народа, он шутил по-народному, и шуткам его смеялись, он был плебеем и вел себя по-простому, он отлично знал и язык, и душу, и ум тех, кого лишил свободы.

3

Мостовского, Агриппину Петровну, военного врача Левинтон и водителя Семенова после того, как они были задержаны немцами августовской ночью на окраине Сталинграда, доставили в штаб пехотной дивизии.

Агриппину Петровну после допроса отпустили, и по указанию сотрудника полевой жандармерии переводчик снабдил ее буханкой горохового хлеба и двумя красными тридцатками;

Семенова присоединили к колонне пленных, направлявшихся в шталаг в районе хутора Вертячего. Мостовского и Софью Осиповну Левинтон отвезли в штаб армейской группы.

Там Мостовской в последний раз видел Софью Осиповну – она стояла посреди пыльного двора, без пилотки, с сорванными знаками различия, и восхитила Мостовского угрюмым, злобным выражением глаз и лица.

После третьего допроса Мостовского погнали пешком к станции железной дороги, где грузился эшелон с зерном. Десять вагонов были отведены под направленных на работу в Германию девушек и парней – Мостовской слышал женские крики при отправлении эшелона. Его заперли в маленькое служебное купе жесткого вагона. Сопровождавший его солдат не был груб, но при вопросах Мостовского на лице его появлялось какое-то глухонемое выражение. Чувствовалось при этом, что он целиком занят одним лишь Мостовским. Так опытный служащий зоологического сада в постоянном молчаливом напряжении следит за ящиком, в котором шуршит, шевелится зверь, совершающий путешествие по железной дороге. Когда поезд шел по территории польского генерал-губернаторства, в купе появился новый пассажир – польский епископ, седой, высокий красавец с трагическими глазами и пухлым юношеским ртом. Он тотчас стал рассказывать Мостовскому о расправе, учиненной Гитлером над польским духовенством. Говорил он по-русски с сильным акцентом. После того как Михаил Сидорович обругал католичество и папу, он замолчал и на вопросы Мостовского отвечал кратко, по-польски. Через несколько часов его высадили в Познани.

В лагерь Мостовского привезли, минуя Берлин... Казалось, уже годы прошли в блоке, где содержались особо интересные для гестапо заключенные. В особом блоке жизнь шла сытнее, чем в рабочем лагере, но это была легкая жизнь лабораторных мучеников-животных. Человека кликнет дежурный к двери – оказывается, приятель предлагает по выгодному паритету обменять табачок на пайку, и человек, ухмыляясь от удовольствия, возвращается на свои нары. А второго точно так же окликнут, и он, прервав беседу, отойдет к дверям, и уже собеседник не дожидается окончания рассказа. А через денек подойдет к нарам капо, велит дежурному собрать тряпье, и кто-нибудь искательно спросит у штубенэльтера Кейзе – можно ли занять освободившиеся нары? Привычна стала дикая смесь разговоров о селекции, кремации трупов и о лагерных футбольных командах, – лучшая: плантаж – Moorsoldaten¹, силен ревир, лихое нападение у кухни, польская команда «працефикс» не имеет защиты. Привычны стали десятки, сотни слухов о новом оружии, о раздорах среди национал-социалистических лидеров. Слухи всегда были хороши и лживы – опиум лагерного народа.

4

К утру выпал снег и, не тая, пролежал до полудня. Русские почувствовали радость и печаль. Россия дохнула в их сторону, бросила под бедные, измученные ноги материнский платок, побелила крыши бараков, и они издали выглядели домашними, по-деревенски.

Но блеснувшая на миг радость смешалась с печалью и утонула в печали.

К Мостовскому подошел дневальный, испанский солдат Андреа, и сказал на ломаном французском языке, что его приятель писарь видел бумагу о русском старике, но писарь не успел прочесть ее, начальник канцелярии прихватил ее с собой.

«Вот и решение моей жизни в этой бумажке», – подумал Мостовской и порадовался своему спокойствию.

– Но ничего, – сказал шепотом Андреа, – еще можно узнать.

– У коменданта лагеря? – спросил Гарди, и его огромные глаза блеснули чернотой в полутьме. – Или у самого представителя Главного управления безопасности Лисса?

¹ Болотные солдаты(нем.).

Мостовского удивляло различие между дневным и ночным Гарди. Днем священник говорил о супе, о вновь прибывших, сговаривался с соседями об обмене пайки, вспоминал острую, прочесоченную итальянскую еду.

Военнопленные красноармейцы, встречая его на лагерной площадке, знали его любимую поговорку: «тути капути», и сами издали кричали ему: «Папаша Падре, тути капути», – и улыбались, словно слова эти обнадеживали. Называли они его – папаша Падре, считая, что «падре» его имя.

Как-то поздним вечером содержащиеся в особом блоке советские командиры и комиссары стали подшучивать над Гарди, действительно ли он соблюдал обет безбрачия.

Гарди без улыбки слушал лоскутный набор французских, немецких и русских слов.

Потом он заговорил, и Мостовской перевел его слова. Ведь русские революционеры ради идеи шли на каторгу и на эшафот. Почему же его собеседники сомневаются, что ради религиозной идеи человек может отказаться от близости с женщиной? Ведь это несравнимо с жертвой жизни.

– Ну, не скажите, – проговорил бригадный комиссар Осипов.

Ночью, когда лагерники засыпали, Гарди становился другим. Он стоял на коленях на нарах и молился. Казалось, в его иступленных глазах, в их бархатной и выпуклой черноте может утонуть все страдание каторжного города. Жилы напрягались на его коричневой шее, словно он работал, длинное апатичное лицо приобретало выражение угрюмого счастливого упорства. Молился он долго, и Михаил Сидорович засыпал под негромкий, быстрый шепот итальянца. Просыпался Мостовской обычно, поспав полтора-два часа; и тогда Гарди уже спал. Спал итальянец бурно, как бы соединяя во сне обе свои сущности, дневную и ночную, – храпел, смачно плямкал губами, скрипел зубами, громоподобно испускал желудочные газы и вдруг протяжно произносил прекрасные слова молитвы, говорящие о милосердии Бога и Божьей Матери.

Он никогда не укорял старого русского коммуниста за безбожие, часто расспрашивал его о Советской России.

Итальянец, слушая Мостовского, кивал головой, как бы одобряя рассказы о закрытых церквях и монастырях, об огромных земельных угодьях, забранных Советским государством у Синода.

Его черные глаза с печалью смотрели на старого коммуниста, и Михаил Сидорович сердито спрашивал:

– Vous me comprenez?²

Гарди улыбался своей обычной, житейской улыбкой, той, с которой говорил о рагу и о соусе из помидоров.

– Je comprends tout ce que vous dites, je ne comprends pas seulement, pourquoi vous dites cela³.

Находившиеся в особом блоке русские военнопленные не были освобождены от работ, и поэтому Мостовской виделся и разговаривал с ними лишь в поздние вечерние и ночные часы. На работу не ходили генерал Гудзь и бригадный комиссар Осипов.

Частым собеседником Мостовского был странный, неопределенного возраста человек – Иконников-Морж. Спал он на худшем месте во всем бараке – у входной двери, где его обдавало холодным сквозняком и где одно время стоял огромный ушастый чан с гремящей крышкой – параша.

Русские заключенные называли Иконникова «старик-парашютист», считали его юродивым и относились к нему с брезгливой жалостью. Он обладал невероятной выносливостью, той,

² Вы меня понимаете?(фр.)

³ Я понимаю все, что вы говорите, я не понимаю только, почему вы это говорите(фр.).

которая отличает лишь безумцев и идиотов. Он никогда не простужался, хотя, ложась спать, не снимал с себя промокшей под осенним дождем одежды. Казалось, что таким звонким и ясным голосом может действительно говорить лишь безумный.

Познакомился он с Мостовским таким образом – Иконников-Морж подошел к Мостовскому и молча долго всматривался ему в лицо.

– Что скажет доброго товарищ? – спросил Михаил Сидорович и усмехнулся, когда Иконников нараспев произнес:

– Сказать доброе? А что есть добро?

Слова эти вдруг перенесли Михаила Сидоровича в пору детства, когда приезжавший из семинарии старший брат заводил с отцом спор о богословских предметах.

– Вопрос с седой бородкой, – сказал Мостовской, – о нем еще думали буддисты и первые христиане. Да и марксисты немало потрудились над его разрешением.

– И решили? – с интонацией, рассмешившей Мостовского, спросил Иконников.

– Вот Красная армия, – сказал Мостовской, – сейчас решает его. А в тоне вашем, простите, содержится некий елей, нечто этакое, не то поповское, не то толстовское.

– Иначе не может быть, – сказал Иконников, – ведь я был толстовцем.

– Вот так фунт, – сказал Михаил Сидорович. Станный человек заинтересовал его.

– Видите ли, – сказал Иконников, – я убежден, что гонения, которые большевики проводили после революции против церкви, были полезны для христианской идеи, ведь церковь пришла в жалкое состояние перед революцией.

Михаил Сидорович добродушно сказал:

– Да вы прямо диалектик. Вот и мне пришлось увидеть евангельское чудо на старости лет.

– Нет, – хмуро проговорил Иконников. – Ведь для вас цель ваша оправдывает средства, а средства ваши безжалостны. Во мне вы не видите чуда – я не диалектик.

– Так, – сказал, внезапно раздражаясь, Мостовской, – чем же, однако, могу вам служить?

Иконников, стоя в позе военного, принявшего положение «смирно», сказал:

– Не смейтесь надо мной! – Горестный голос его прозвучал трагично. – Я не ради шуток подошел к вам. Пятнадцатого сентября прошлого года я видел казнь двадцати тысяч евреев – женщин, детей и стариков. В этот день я понял, что Бог не мог допустить подобное, и мне стало очевидно, что его нет. В сегодняшнем мраке я вижу вашу силу, она борется со страшным злом...

– Ну что ж, – сказал Михаил Сидорович, – поговорим.

Иконников работал на плантаже, в болотистой части прилагерных земель, где прокладывалась система огромных бетонированных труб для отвода реки и грязных ручейков, заболачивающих низменность. Рабочих на этом участке называли «Moorsoldaten», обычно сюда попадали люди, пользовавшиеся нерасположением начальства.

Руки Иконникова были маленькие, с тонкими пальцами, с детскими ногтями. Он возвращался с работы замазанный глиной, мокрый, подходил к нарам Мостовского и спрашивал:

– Разрешите посидеть возле вас?..

Он садился и улыбался, не глядя на собеседника, проводил рукой по лбу. Лоб у него был какой-то удивительный – не очень большой, выпуклый, светлый, такой светлый, точно существовал отдельно от грязных ушей и рук с обломанными ногтями, темно-коричневой шеи.

Советским военнопленным, людям с простой биографией, он казался человеком неясным и темным.

Предки Иконникова со времен Петра Великого были из рода в род священниками. Лишь последнее поколение Иконниковых пошло другой дорогой – все братья Иконникова по желанию отца получили светское образование.

Иконников учился в Петербургском технологическом институте, но увлекся толстовством, ушел с последнего курса и отправился на север Пермской губернии народным учите-

лем. Он прожил в деревне около восьми лет, а затем перебрался на юг, в Одессу, поступил на грузовой пароход слесарем в машинное отделение, побывал в Индии, в Японии, жил в Сиднее. После революции он вернулся в Россию, вступил в крестьянскую земледельческую коммуну. Эта была его давняя мечта, он верил, что сельскохозяйственный коммунистический труд приведет к Царству Божьему на земле.

Во время всеобщей коллективизации он увидел эшелоны, набитые семьями раскулаченных. Он видел, как падали в снег изможденные люди и уже не вставали. Он видел «закрытые», вымершие деревни с заколоченными окнами и дверями. Он видел арестованную крестьянку, оборванную женщину с жилистой шеей, с трудовыми, темными руками, на которую с ужасом смотрели конвоиры: она съела, обезумев от голода, своих двоих детей.

В эту пору он, не покидая коммуны, стал проповедовать Евангелие, молить Бога о спасении гибнущих. Кончилось дело тем, что его посадили, но оказалось, что бедствия тридцатых годов помutilи его разум. После года принудительного лечения в тюремной психиатрической больнице он вышел на волю и поселился в Белоруссии у старшего брата, профессора-биолога, устроился с его помощью на работу в технической библиотеке. Но мрачные события произвели на него чрезвычайное впечатление.

Когда началась война и немцы захватили Белоруссию, Иконников увидел муки военнопленных, казни евреев в городах и местечках Белоруссии. Он вновь впал в какое-то истерическое состояние и стал умолять знакомых и незнакомых людей прятать евреев, сам пытался спасти еврейских детей и женщин. На него вскоре донесли, и, каким-то чудом избегнув виселицы, он попал в лагерь.

В голове оборванного и грязного «парашютиста» царил хаос, он утверждал нелепые и комичные категории надклассовой морали.

– Там, где есть насилие, – объяснял Иконников Мостовскому, – царит горе и льется кровь. Я видел великие страдания крестьянства, а коллективизация шла во имя добра. Я не верю в добро, я верю в доброту.

– Будем, следуя вашему совету, ужасаться, что во имя добра вздернут Гитлера и Гимmlера. Ужасайтесь уж без меня, – отвечал Михаил Сидорович.

– Спросите Гитлера, – сказал Иконников, – и он вам объяснит, что и этот лагерь ради добра.

Мостовскому казалось, что во время спора с Иконниковым работа его логики становится похожа на бессмысленные усилия ножа, борющегося с медузой.

– Мир не поднялся выше истины, высказанной сирийским христианином, жившим в шестом веке, – повторял Иконников: – «Осуди грех и прости грешника».

В бараке находился еще один русский старик – Чернецов. Он был одноглазым. Охранник разбил ему искусственный, стеклянный глаз, и пустая красная глазница страшно выглядела на его бледном лице. Разговаривая, он прикрывал зияющую пустую глазницу ладонью.

Это был меньшевик, бежавший из Советской России в 1921 году. Двадцать лет он прожил в Париже, работал бухгалтером в банке. Попал он в лагерь за призыв к служащим банка саботировать распоряжения новой немецкой администрации. Мостовской старался с ним не сталкиваться.

Одноглазого меньшевика, видимо, тревожила популярность Мостовского – и солдат-испанец, и норвежец, владелец писчебумажной лавки, и адвокат-бельгиец тянулись к старому большевику, расспрашивали его.

Однажды к Мостовскому на нары сел верховодивший среди русских военнопленных майор Ершов – немного привалившись к Мостовскому и положив руку ему на плечо, он быстро и горячо говорил.

Мостовской внезапно оглянулся – с дальних нар смотрел на них Чернецов. Мостовскому подумалось, что выражение тоски в его зрячем глазу страшней, чем красная зиявшая яма на месте выбитого глаза.

«Да, брат, невесело тебе», – подумал Мостовской и не испытал злорадства.

Не случай, конечно, а закон определил, что Ершов всем всегда нужен. «Где Ершов? Ерша не видели? Товарищ Ершов! Майор Ершов! Ершов сказал... Спроси Ершова...» К нему приходят из других барачков, вокруг его нар всегда движение.

Михаил Сидорович окрестил Ершова: властитель дум. Были властители дум – шестидесятники, были – восьмидесятники. Были народники, был да сплыл Михайловский. И в гитлеровском концлагере есть свой властитель дум! Одиночество одноглазого казалось в этом лагере трагическим символом.

Десятки лет прошли с поры, когда Михаил Сидорович впервые сидел в царской тюрьме, – даже век был тогда другой – девятнадцатый.

Сейчас он вспоминал о том, как обижался на недоверие некоторых руководителей партии к его способности вести практическую работу. Он чувствовал себя сильным, он каждый день видел, как веско было его слово для генерала Гудзя, и для бригадного комиссара Осипова, и для всегда подавленного и печального майора Кириллова.

До войны его утешало, что, удаленный от практики, он меньше соприкасается со всем тем, что вызывало его протест и несогласие, – и единовластие Сталина в партии, и кровавые процессы оппозиции, и недостаточное уважение к старой партийной гвардии. Он мучительно переживал казнь Бухарина, которого хорошо знал и очень любил. Но он знал, что, противопоставив себя партии в любом из этих вопросов, он, помимо своей воли, окажется противопоставлен ленинскому делу, которому отдал жизнь. Иногда его мучили сомнения, – может быть, по слабости, по трусости молчит он и не выступает против того, с чем не согласен. Ведь многое в довоенной жизни было ужасно! Он часто вспоминал покойного Луначарского – как хотелось ему вновь увидеть его, с Анатолием Васильевичем так легко было говорить, так быстро, с полуслова, понимали они друг друга.

Теперь, в страшном немецком лагере, он чувствовал себя уверенным и крепким. Лишь одно томящее ощущение не оставляло его. Он и в лагере не мог вернуть молодого, ясного и круглого чувства: свой среди своих, чужой среди чужих.

Тут дело было не в том, что однажды английский офицер спросил его, не мешало ли ему заниматься философской наукой то, что в России запрещено высказывать антимарксистские взгляды.

– Кому-нибудь, может быть, это и мешает. А мне, марксисту, не мешает, – ответил Михаил Сидорович.

– Я задал этот вопрос, именно имея в виду, что вы старый марксист, – сказал англичанин. И хотя Мостовской поморщился от болезненного чувства, вызванного этими словами, он сумел ответить англичанину.

Тут дело было не в том, что такие люди, как Осипов, Гудзь, Ершов, иногда тяготили его, хотя они были кровно близки ему. Беда была в том, что многое в его собственной душе стало для него чужим. Случалось, в мирные времена он, радуясь, встречался со старым другом, а в конце встречи видел в нем чужого.

Но как поступить, когда чуждое сегодняшнему дню жило в нем самом, было частью его самого... С собой ведь не порвешь, не перестанешь встречаться.

При разговорах с Иконниковым он раздражался, бывал груб, насмешлив, обзывал его тюрей, размазней, киселем, шляпой. Но, насмехаясь над ним, он в то же время скучал, когда долго не видел его.

В этом было главное изменение между его тюремными годами в молодости и нынешним временем.

В молодую пору в друзьях и единомышленниках все было близко, понятно. Каждая мысль, каждый взгляд врага были чужды, дики.

А теперь вдруг он узнавал в мыслях чужого то, что было дорого ему десятки лет назад, а чужое иногда непонятным образом проявлялось в мыслях и словах друзей.

«Это, должно быть, оттого, что я слишком долго живу на свете», – думал Мостовской.

5

Американский полковник жил в отдельном боксе особого барака. Ему разрешали свободно выходить из барака в вечернее время, кормили особым обедом. Говорили, что по его поводу был сделан запрос из Швеции – президент Рузвельт просил о нем через шведского короля.

Полковник однажды отнес плитку шоколада больному русскому майору Никонову. Его в особом бараке интересовали больше всего русские военнопленные. Он пытался заводить с русскими разговор о немецкой тактике и о причинах неудач первого года войны.

Он часто заговаривал с Ершовым и, глядя в умные, одновременно серьезные и веселые глаза русского майора, забывал, что тот не понимает по-английски.

Ему казалось странным, как же не понимает его человек с таким умным лицом, да еще не понимает разговора о предметах, которые сильно волнуют обоих.

– Неужели вы ни черта не понимаете? – огорченно спрашивал он.

Ершов по-русски отвечал ему:

– Наш уважаемый сержант владел всеми языками, кроме иностранных.

Но все же на языке, состоящем из улыбок, взглядов, похлопываний по спине и десятка-полтора исковерканных русских, немецких, английских и французских слов, разговаривали о товариществе, сочувствии, помощи, о любви к дому, женам, детям – лагерные русские люди с людьми десятков разноязычных национальностей.

«Камрад, гут, брот, зупэ, киндер, сигарет, арбайт» да еще с дюжину немецких слов, рожденных в лагерях: ревир, блокэльтерсте, капо, фернихтунгслагер, апель, апельплац, вахраум, флюгпункт, лагершутце – хватало, чтобы выразить особо важное в простой и запутанной жизни лагерных людей.

Были и русские слова – ребята, табачок, товарищ, – которыми пользовались заключенные многих национальностей. А русское слово «доходяга», определявшее состояние близкого к смерти лагерника, стало общим для всех, завоевало все пятьдесят шесть лагерных национальностей.

С набором в десяток-полтора слов великий немецкий народ вторгся в города и деревни, населенные великим русским народом, и миллионы русских деревенских баб, стариков, детей и миллионы немецких солдат объяснялись словами – «матка, пан, руки виерх, курка, яйка, капут». Ничего доброго из этого объяснения не получалось. Но великому немецкому народу хватало этих слов для того дела, которое он совершал в России.

Но так же ничего хорошего не получалось из того, что Чернецов пытался заговаривать с советскими военнопленными, – хотя он за двадцать лет эмиграции не забыл русского языка, а превосходно владел русской речью. Он не мог понять советских военнопленных, они чуждались его.

И так же не могли договориться советские военнопленные – одни, готовые умереть, но не изменить, другие, помышлявшие вступить во власовские войска. Чем больше говорили они и спорили, тем меньше понимали они друг друга. А потом уже они молчали, полные ненависти и презрения друг к другу.

В этом мычании немых и в речах слепых, в этом густом смешении людей, объединенных ужасом, надеждой и горем, в непонимании, ненависти людей, говорящих на одном языке, трагически выразалось одно из бедствий двадцатого века.

6

В день, когда высыпал снег, вечерние разговоры русских военнопленных были особенно печальны.

Даже полковник Златокрылец и бригадный комиссар Осипов, всегда собранные, полные душевной силы, стали угрюмы и молчаливы. Тоска подмяла всех.

Артиллерист майор Кириллов сидел на нарах Мостовского опустив плечи и тихонько покачивал головой. Казалось, не только темные глаза, но все огромное его тело было полно тоской.

Подобное выражение глаз бывает у безнадежных раковых больных, – глядя в такие глаза, даже самые близкие люди, сострадавая, думают: скорей бы ты умер.

Желтолицый и вездесущий Котиков, указывая на Кириллова, шепотом сказал Осипову:
– Либо повесится, либо к власовцам метнется.

Мостовской, потирая седые щетинистые щеки, проговорил:

– Слушайте меня, казачки. А ведь, право, хорошо. Не ужели не понимаете? Каждый день жизни государства, созданного Лениным, невыносим для фашизма. У него нет вы бора – либо сожрать нас, уничтожить, либо самому погибнуть. Ведь в ненависти к нам фашизма проверка правильности дела Ленина. Еще одна, и нешуточная. Поймите вы, чем больше к нам ненависть фашистов, тем уверенней мы должны быть в своей правоте. И мы осилим.

Он резко повернулся к Кириллову, сказал:

– Ну что ж это вы, а? Помните у Горького, когда он ходил по тюремному двору, какой-то грузин кричал: «Что ты ходишь таким курицам, ходы голова вверх!»

Все рассмеялись.

– Верно, верно, давайте головы вверх, – сказал Мостовской. – Вы подумайте – огромное, великое Советское государство защищает коммунистическую идею! Пусть Гитлер справится с ним и с ней. Сталинград стоит, держится. Казалось иногда перед войной – не слишком ли круто, не слишком ли жестоко закрутили мы гайки? Но уж, действительно, и слепым теперь видно – цель оправдала средства.

– Да, гайки подкрутили у нас крепко. Это вы верно сказали, – проговорил Ершов.

– Мало подкрутили, – сказал генерал Гудзь. – Еще крепче надо бы, тогда б до Волги не дошел.

– Не нам Сталина учить, – сказал Осипов.

– Ну вот, – сказал Мостовской. – А если погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, тут уж ничего не попишешь. Не об этом нам надо думать.

– А о чем? – громко спросил Ершов.

Сидевшие переглянулись, оглянулись, помолчали.

– Эх, Кириллов, Кириллов, – сказал вдруг Ершов. – Верно наш отец сказал: мы радоваться должны, что фашисты нас ненавидят. Мы их, они нас. Понимаешь? А ты подумай – попасть к своим в лагерь, свой к своим. Вот где беда. А тут что! Мы люди крепкие, еще дадим немцу жизни.

7

Весь день у командования 62-й армии не было связи с частями. Вышли из строя многие штабные радиоприемники; проволочная связь повсеместно нарушилась.

Бывали минуты, когда люди, глядя на текучую, покрытую мелкой волной Волгу, ощущали реку как неподвижность, у берега которой зыбилась трепещущая земля. Сотни советских тяжелых орудий вели огонь из Заволжья. Над немецким расположением у южного склона Мамаева кургана вздымались комья земли и глины.

Клубящиеся земляные облака, проходя сквозь дивное, незримое сито, созданное силой тяготения, образовывали рассев: тяжелые глыбы, комки рушились на землю, а легкая взвесь подымалась в небо. По несколько раз на день оглушенные, с воспаленными глазами красноармейцы встречали немецкие танки и пехоту.

Для командования, оторванного от войск, день казался томительно длинным.

Чем только не пытались Чуйков, Крылов и Гуров заполнить этот день – создавали видимость дела, писали письма, спорили о возможных передвижениях противника, шутили, и водку пили с закуской и без закуски, и молчали, прислушиваясь к грому бомбежки. Железный вихрь был вокруг блиндажа, косил все живое, на миг подымавшее голову над поверхностью земли. Штаб был парализован.

– Давайте в подкидного сыграем, – сказал Чуйков и отодвинул в угол стола объемистую пепельницу, полную окурков.

Даже начальнику штаба армии Крылову изменило спокойствие. Постукивая пальцем по столу, он сказал:

– Нет хуже положения – вот так ждать, как бы не схарчили.

Чуйков раздал карты, объявил: «Черва козырь», потом вдруг смешал колоду, проговорил:

– Сидим, как зайчишки, и играем в картишки. Нет, не могу!

Он сидел задумавшись. Лицо его казалось ужасным – такое выражение ненависти и муки отразилось на нем.

Гуров, словно предугадывая свою судьбу, задумчиво повторил:

– Да, после такого денька можно от разрыва сердца умереть.

Потом он рассмеялся, сказал:

– В дивизии днем в уборную выйти – страшное, невысказанное дело! Мне рассказывали: начальник штаба у Людникова плюхнулся в блиндаж, крикнул: «Ура, ребята, я посрал!» Поглядел, а в блиндаже докторша сидит, в которую он влюблен.

С темнотой налеты немецкой авиации прекратились. Вероятно, человек, попавший ночью на сталинградский берег, подавленный грохотом и треском, вообразил бы, что недобрая судьба привела его в Сталинград в час решающей атаки, но для военных старожилов это было время бритья, постирушек, писания писем, время, когда фронтовые слесари, токари, паяльщики, часовщики мастерили зажигалки, мундштуки, светильники из снарядных гильз с фитилями из шинельного сукна, чинили ходики.

Мерцающий огонь разрывов освещал береговой откос, развалины города, нефтяные баки, заводские трубы, и в этих коротких вспышках побережье и город казались зловещими и угрюмыми.

В темноте ожил армейский узел связи, затрещали пишущие машинки, размножающие копии боевых донесений, зажужжали движки, затарахтела морзянка, и телефонисты переключались по линиям – подключали в сеть командные пункты дивизий, полков, батарей, рот... Степенно покашливали прибывшие в армейский штаб связные, докладывали оперативным дежурным офицеры связи.

Заспешили на доклад к Чуйкову и Крылову старик Пожарский, командующий артиллерией армии, и начальник смертных переправ инженерный генерал Ткаченко, и новосел в зеленой солдатской шинельке, командир сибирской дивизии Гурьев, и сталинградский старожил подполковник Батюк, стоявший со своей дивизией под Мамаевым курганом. Зазвучали в политдонесениях члену Военного совета армии Гурову знаменитые сталинградские имена – минометчика Бездидько, снайперов Василия Зайцева и Анатолия Чехова, сержанта Павлова, и

рядом с ними назывались имена людей, впервые произнесенные в Сталинграде, – Шонина, Власова, Брысина, которым первый их сталинградский день принес военную славу. А на переднем крае сдавали почтальонам равнобедренные бумажные треугольники – «лети, листок, с запада на восток... лети с приветом, вернись с ответом... добрый день, а может быть, и вечер...». На переднем крае хоронили погибших, и убитые проводили первую ночь своего вечного сна рядом с блиндажами и укрытиями, где товарищи их писали письма, брились, ели хлеб, пили чай, мылись в самодельных банях.

8

Пришли самые тяжелые дни защитников Сталинграда.

В неразберихе городского сражения, атак и контратак, в борьбе за Дом специалистов, за мельницу, здание Госбанка, в борьбе за подвалы, дворы, площади стал несомненен перевес немецких сил.

Немецкий клин, вколоченный в южной части Сталинграда у сада Лапшиных, Купоросной Балки и Ельшанки, ширился, и немецкие пулеметчики, укрывшись у самой воды, обстреливали левый берег Волги южнее Красной Слободы. Оперативщики каждый день отмечали на картах линию фронта, видели, как неуклонно наползали синие отметины и все таяла, утончалась полоса между красной чертой советской обороны и голубизной Волги.

Инициатива, душа войны, в эти дни была в руках у немцев. Они ползли и ползли вперед, и вся ярость советских контратак не могла остановить их медленного, но отвратительно несомненного движения.

А в небе от восхода до заката ныли немецкие пикировщики, долбили горестную землю фугасными бомбами. И в сотнях голов жила колючая, жестокая мысль о том, что же будет завтра, через неделю, когда полоска советской обороны превратится в нитку, порвется, искрошенная железными зубами немецкого наступления.

9

Поздно ночью генерал Крылов прилег в своем блиндаже на койку. В висках ломило, покалывало в горле от десятков выкуренных папирос. Крылов провел языком по сухому нёбу и повернулся к стене. Дремота смешала в памяти Крылова севастопольские и одесские бои, крик штурмующей румынской пехоты, мощенные камнем, поросшие плющом одесские дворы и матросскую красоту Севастополя.

Ему померещилось, что он вновь на командном пункте в Севастополе, и в сонном тумане поблескивали стекла пенсне генерала Петрова; сверкнувшее стекло заблестело тысячами осколков, и уже колыхалось море, и серая пыль от расколотого немецкими снарядами скального камня поплыла над головами моряков и солдат, встала над Сапун-горой.

Послышался бездушный плеск волны о борт катера и грубый голос моряка-подводника: «Прыгай!» Казалось, что прыгнул он в волну, но нога тотчас коснулась корпуса подводной лодки... И последний взгляд на Севастополь, на звезды в небе, на береговые пожары...

Крылов заснул. Во сне продолжалась власть войны. Подводная лодка уходила из Севастополя в Новороссийск... Он поджимал затекшие ноги, грудь и спина взмокли от пота, шум двигателя бил в виски. И вдруг двигатель замер – лодка мягко легла на дно. Духота стала невыносима, давил металлический свод, деленный на квадраты пунктиром клепки...

Он услышал многоголосый рев, плеск – взорвалась глубинная бомба, вода ударила, сбросила его с койки. Крылов открыл глаза: кругом был огонь, мимо распахнутой двери блиндажа бежал к Волге поток пламени, слышались крики людей, стрекотание автоматов.

– Шинелью, шинелью голову закрой! – закричал Крылову незнакомый красноармеец, протягивая шинель. Но Крылов, отстраняя красноармейца, закричал:

– Где командующий?

Вдруг он понял: немцы подожгли нефтебаки, и горящая нефть хлынула к Волге.

Казалось, не было уже возможности выбраться живым из этого текучего огня. Огонь гудел, с треском отрываясь от нефти, заполнявшей ямы и воронки, хлеставшей по ходам сообщения. Земля, глина, камень, пропитываясь нефтью, начинали дымить. Нефть вываливалась черными, глянцевитыми струями из прошитых зажигательными пулями хранилищ, и казалось, это разворачиваются огромные рулоны огня и дыма, укупоренные в цистернах.

Жизнь, которая торжествовала на земле сотни миллионов лет тому назад, грубая и страшная жизнь первобытных чудовищ, вырвалась из могильных толщ, вновь ревела, топча ножищами, выла, жадно жрала все вокруг себя. Огонь подымался на много сотен метров вверх, унося облака горячего пара, которые взрывоподобно вспыхивали высоко в небе. Масса пламени была так велика, что воздушный вихрь не успевал подавать к горящим углеродистым молекулам кислород, и плотный кольшущийся черный свод отделил осеннее звездное небо от горевшей земли. Жутко было смотреть снизу на эту струящуюся, жирную и черную твердь.

Огненные и дымовые столбы, стремясь вверх, то принимали мгновеньями очертания живых, охваченных отчаянием и яростью существ, то казались дрожащими тополями, трепещущими осинами. Черное и красное кружилось в лоскутах огня подобно слившимся в пляске черным и рыжим растрепанным девкам.

Горящая нефть плоско расплывалась по воде и, подхваченная течением, шипела, дымила, затравленно извивалась.

Удивительно, что в эти минуты уже многие бойцы знали, как можно пробраться к берегу. Они кричали: «Сюда, сюда беги, вот по этой тропке!»; некоторые люди успели два-три раза подняться к пылавшим блиндажам, помогали штабным добираться до выступа на берегу, где в огненной развилке упершихся в Волгу нефтяных потоков стояла кучка спасшихся.

Люди в ватниках помогли спуститься к берегу командующему армией и офицерам штаба. Эти люди на руках вынесли из огня генерала Крылова, которого уже считали погибшим, и, поморгав обгоревшими ресницами, вновь продирались сквозь чащу красного шиповника к штабным блиндажам.

До утра простояли на маленьком выступе земли у самой Волги работники штаба 62-й армии. Прикрывая лицо от раскаленного воздуха, сбивая с одежды искры, они оглядывались на командующего армией. Он был одет в красноармейскую шинель внакидку, из-под фуражки выбивались на лоб волосы. Нахмуренный, угрюмый, он казался спокойным и задумчивым.

Гуров сказал, оглядывая стоящих:

– И в огне мы, оказывается, не горим... – и пощупал горячие пуговицы шинели.

– Эй, боец с лопатой, – крикнул начальник инженерной службы генерал Ткаченко, – прокопайте скоренько тут канавку, а то еще потечет огонь с той горки!

Он сказал Крылову:

– Все смешалось, товарищ генерал, огонь течет, как вода, а Волга огнем жжет. Счастье, что сильного ветра нет, а то попало бы нас всех.

Когда ветерок набегал с Волги, тяжеловесный шатер пожара колыхался, клонился, и люди шарахались от обжигающего пламени.

Некоторые, подходя к берегу, смачивали водой сапоги, и она испарялась с горячих голенищ. Одни молчали, упершись взором в землю, другие всё озирались, третьи, преодолевая напряжение, шутили: «Здесь и спичек не надо, можно прикурить и от Волги, и от ветерка», четвертые ощупывали себя, покачивали головой, ощущая жар металлических пряжек на ремнях.

Послышалось несколько выбухов, это рвались в блиндажах батальона охраны штаба ручные гранаты. Потом затрещали патроны в пулеметных лентах. Просвистела сквозь огонь немецкая мина и взорвалась далеко в Волге. Мелькали сквозь дым далекие фигуры людей на берегу, – видимо, кто-то пытался отвести огонь от командного пункта, а через миг вновь все исчезало в дыму и огне.

Крылов, вглядываясь в льющийся вокруг огонь, уж не вспоминал, не сравнивал... Не вздумали ли немцы приноровить к пожару наступление? Немцы не знают, в каком положении находится командование армии, вчерашний пленный не верил, что штаб армии находится на правом берегу... Очевидно, частная операция, значит, есть шансы дожить до утра. Только бы не поднялся ветер.

Он оглянулся на стоящего рядом Чуйкова, тот всматривался в гудевший пожар; лицо его, испачканное копотью, казалось раскаленным, медным. Он снял фуражку, провел рукой по волосам и стал похож на потного деревенского кузнеца; искры прыгали над его курчавой головой. Вот он поглядел вверх на шумный огненный купол, оглянулся на Волгу, где среди змеящихся огней проступали прорывы тьмы. Крылову подумалось, что командарм напряженно решает те же вопросы, что тревожили его: начнут ли немцы ночью большое наступление... Где разместить штаб, если придется дожить до утра...

Чуйков, почувствовав взгляд начальника штаба, улыбнулся ему и сказал, обведя рукой широкий круг повыше головы:

– Красиво, здорово, черт, а?

Пламя пожара хорошо было видно из Красного Сада, в Заволжье, где располагался штаб Сталинградского фронта. Начальник штаба генерал-лейтенант Захаров, получив первое сообщение о пожаре, доложил об этом Еременко, и командующий попросил Захарова лично пойти на узел связи и переговорить с Чуйковым. Захаров, шумно дыша, торопливо шел по тропинке. Адьютант, светя фонариком, время от времени произносил: «Осторожно, товарищ генерал», – и отводил рукой нависавшие над тропинкой ветви яблонь. Далекое зарево освещало стволы деревьев, ложилось розовыми пятнами на землю. Этот неясный свет наполнял душу тревогой. Тишина, стоявшая вокруг, нарушаемая лишь негромкими окликающими часовых, придавала какую-то особо томящую силу немоу бледному огню.

На узле связи дежурная, глядя на тяжело дышавшего Захарова, сказала, что с Чуйковым нет связи – ни телефонной, ни телеграфной, ни беспроволочной...

– С дивизиями? – отрывисто спросил Захаров.

– Только что, товарищ генерал-лейтенант, была связь с Батюком.

– Давайте, живо!

Дежурная, боясь глядеть на Захарова и уже уверенная, что тяжелый и раздражительный характер генерала сейчас разыграется, вдруг радостно сказала:

– Есть, пожалуйста, товарищ генерал, – и протянула трубку Захарову.

С Захаровым говорил начальник штаба дивизии. Он, как и девушка-связистка, оробел, услышав тяжелое дыхание и властный голос начальника штаба фронта.

– Что там у вас происходит, докладывайте. Есть связь с Чуйковым?

Начальник штаба дивизии доложил о пожаре на нефтебаках, о том, что огненный вал обрушился на командный пункт штаба армии, что у дивизии нет связи с командармом, что, видимо, не все там погибли, так как через огонь и дым видны люди, стоящие на берегу, но ни с суши, ни с Волги на лодке к ним подобраться нельзя – Волга горит. Батюк ушел берегом с ротой охраны штаба на пожар, чтобы попытаться отвести огненный поток и помочь выбраться из огня людям, стоящим на берегу.

Захаров, выслушав начальника штаба, проговорил:

– Передайте Чуйкову, если он жив, передайте Чуйкову... – и замолчал.

Девушка-связистка, удивленная длинной паузой и ожидая раската хриплого генеральского голоса, опасливо поглядела на Захарова – он стоял, приложив платок к глазам.

В эту ночь сорок штабных командиров погибли среди огня в обрушившихся блиндажах.

10

Крымов попал в Сталинград вскоре после пожара нефтехранилищ.

Чуйков разместил новый командный пункт армии под волжским откосом, в расположении стрелкового полка, входившего в состав дивизии Батюка. Чуйков посетил блиндаж командира полка капитана Михайлова и, осмотрев многонакатную просторную землянку, удовлетворенно кивнул. Глядя на огорченное лицо рыжего, веснушчатого капитана, командарм весело сказал ему:

– Не по чину, товарищ капитан, построили себе блиндаж.

Штаб полка, прихватив свою нехитрую мебель, переместился на несколько десятков метров по течению Волги – там рыжий Михайлов, в свою очередь, решительно потеснил командира своего батальона.

Командир батальона, оставшись без квартиры, не стал трогать командиров своих рот (уж очень тесно жили), а велел выкопать себе новую землянку на самом плоскогорье.

Когда Крымов пришел на командный пункт 62-й армии, там в разгаре были саперные работы. Прокладывались ходы сообщения между отделами штаба, улицы и переулочки, соединявшие жителей политотдела, оперативщиков и артиллеристов.

Два раза Крымов видел самого командарма – он выходил посмотреть на стройку.

Нигде, пожалуй, в мире к строительству жилищ не относились с такой серьезностью, как в Сталинграде. Не для тепла и не в пример потомству строились сталинградские блиндажи. Вероятность встретить рассвет и час обеда грубо зависела от толщины блиндажных накатов, от глубины хода сообщения, от близости отхожего места, от того, заметен ли с воздуха блиндаж.

Когда говорили о человеке, говорили и о его блиндаже.

– Толково сегодня Батюк поработал минометами на Мамаевом кургане... И блиндажик, между прочим, у него: дверь дубовая, толстенная, как в сенате, умный человек...

А случалось, говорили о ком-нибудь так:

– Ну что ж, потеснили его ночью, потерял ключевую позицию, связи с подразделениями не имел. Командный пункт его с воздуха виден, плащ-палатка вместо двери – от мух, можно сказать. Пустой человек, от него, я слышал, жена до войны ушла.

Много разных историй было связано с блиндажами и землянками Сталинграда. И рассказ о том, как в трубу, в которой жил родимцевский штаб, вдруг хлынула вода и вся канцелярия выплыла на берег, и шутники на карте отметили место впадения родимцевского штаба в Волгу. И рассказ о том, как вышибло знаменитые двери в блиндаже у Батюка. И рассказ о том, как Жолудева на тракторном заводе засыпало вместе со штабом в блиндаже.

Сталинградский береговой откос, часто и плотно начиненный блиндажами, напоминал Крымову огромный военный корабль – по одному борту его лежала Волга, по другому – плотная стена неприятельского огня.

Крымов имел поручение политуправления разобрать склоку, возникшую между командиром и комиссаром стрелкового полка в дивизии Родимцева.

Отправляясь к Родимцеву, он собирался сделать доклад штабным командирам, а затем разобрать и кляузное дело.

Посыльный из политотдела армии подвел его к каменному устью широкой трубы, в которой разместился родимцевский штаб. Часовой доложил о батальонном комиссаре из штаба фронта, и чей-то толстый голос произнес:

– Зови его сюда, а то, верно, с непривычки в штаны наложил.

Крымов зашел под низкий свод и, чувствуя на себе взгляды штабных, представился полнотелому полковому комиссару в солдатском ватнике, сидевшему на консервном ящике.

– А, очень приятно, доклад послушать – дело хорошее, – сказал полковой комиссар. – А то слышали, что и Мануильский, и еще кое-кто на левый берег приехали, а к нам в Сталинград не соберутся.

– У меня, кроме того, есть поручение от начальника политуправления, – сказал Крымов, – разобрать дело между командиром стрелкового полка и комиссаром.

– Было у нас такое дело, – ответил комиссар. – Вчера его разобрали: на командный пункт полка попала тонная бомба, убито восемнадцать человек, в том числе командир полка и комиссар.

Он проговорил с доверительной простотой:

– Все у них как-то наоборот было, и внешность даже: командир человек простой, крестьянский сын, а комиссар перчатки носил, кольцо на пальце. Теперь лежат оба рядом.

Как человек, умеющий управлять своим и чужим настроением, а не подчиняться настроению, он, резко изменив тон, веселым голосом сказал:

– Когда дивизия наша под Котлубанью стояла, пришлось мне везти к фронту на своей машине московского докладчика, Павла Федоровича Юдина. Член Военного совета мне сказал: «Волос потеряет, голову тебе снесу». Намаялся я с ним. Чуть самолет – сразу в кювет пикировали. Берёг. Не охота голову терять. Но и товарищ Юдин берегся, проявлял инициативу.

Люди, прислушивающиеся к их разговору, посмеивались, и Крымов вновь ощутил раздражавший его тон снисходительной насмешливости.

Обычно у Крымова складывались хорошие отношения со строевыми командирами, вполне сносные со штабными, а раздраженные и не всегда искренние – со своим же братом политическими работниками. Вот и сейчас комиссар дивизии раздражал его: без году неделя на фронте, а представляется ветераном, наверное, и в партию перед войной вступил, а уж Энгельс его не устраивает.

Но, видимо, и Крымов чем-то раздражал комиссара дивизии.

Это ощущение не оставило Крымова и когда адъютант устраивал ему ночлег, и когда его поили чаем.

Почти в каждой воинской части есть свой особый, отличный от других стиль отношений. В штабе родимцевской дивизии постоянно гордились своим молодым генералом.

После того как Крымов закончил беседу, ему стали задавать вопросы.

Начальник штаба Вельский, сидевший подле Родимцева, спросил:

– Когда же, товарищ докладчик, союзники второй фронт откроют?

Комиссар дивизии, полулежавший на узеньких нарах, прилепленных к каменной обшивке трубы, сел, разгреб руками сено и проговорил:

– Куда спешить. Меня больше интересует, как наше командование действовать собирается.

Крымов недовольно покосился на комиссара, сказал:

– Поскольку ваш комиссар так ставит вопрос, отвечать следует не мне, а генералу.

Все поглядели на Родимцева, и он сказал:

– Высокому человеку здесь не разогнуться. Одно слово – труба. Оборона – что ж, в ней нет высшей заслуги. А наступать из этой трубы нельзя. Рады бы, да в трубе резервов не накопишь.

В это время зазвонил телефон. Родимцев взял трубку.

Все люди поглядели на него.

Положив трубку, Родимцев нагнулся к Вельскому и негромко произнес несколько слов. Тот потянулся к телефону, но Родимцев положил руку на телефонный аппарат и сказал:

– К чему? Разве вам не слышно?

Многое было слышно под каменными сводами штольни, освещенной мерцающим дымным светом ламп, сделанных из снарядных гильз. Частые пулеметные очереди грохотали над головой сидевших, как тележки на мосту. Время от времени ударяли разрывы ручных гранат. Звуки в трубе резонировали очень гулко.

Родимцев подзывал к себе то одного, то другого сотрудника штаба, вновь поднес к уху нетерпеливую телефонную трубку.

На мгновение он поймал взгляд сидевшего неподалеку Крымова и, мило, по-домашнему улыбнувшись, сказал ему:

– Разгулялася волжская погода, товарищ докладчик.

А телефон уж звонил непрерывно. Прислушиваясь к разговору Родимцева, Крымов примерно понимал, что происходило. Заместитель командира дивизии, молодой полковник Борисов, подошел к генералу и, склонившись над ящиком, на котором был разложен план Сталинграда, картинно, резко провел жирную синюю черту по перпендикуляру, пересекающую до самой Волги красный пункт советской обороны. Борисов выразительно посмотрел на Родимцева темными глазами. Родимцев вдруг встал, увидя идущего к нему из полумрака человека в плащ-палатке.

По походке и выражению лица подошедшего сразу же делалось понятным, откуда он явился, – он был окутан невидимым раскаленным облаком, казалось, что при быстрых движениях не плащ-палатка шуршит, а потрескивает электричество, которым насыщен этот человек.

– Товарищ генерал, – жалуюсь, закричал он, – потеснил меня, собака, в овраг залез, прет к Волге. Надо усилить меня.

– Задержите противника сами любой ценой. Резервов у меня нет, – сказал Родимцев.

– Задержать любой ценой, – ответил человек в плащ-палатке, и всем стало понятно, когда он, повернувшись, пошел к выходу, что он знает цену, которую заплатит.

– Тут рядом? – спросил Крымов и показал на карте извилистую оврага.

Но Родимцев не успел ему ответить. В устье трубы послышались пистолетные выстрелы, мелькнули красные зарницы ручных гранат.

Послышался пронзительный командирский свисток. К Родимцеву кинулся начальник штаба, закричал:

– Товарищ генерал, противник прорвался на ваш командный пункт!..

И вдруг исчез командир дивизии, чуть-чуть игравший своим спокойным голосом, отмечавший цветным карандашиком по карте изменение обстановки. Исчезло ощущение, что война в каменных развалинах и поросших бурьяном оврагах связана с хромированной сталью, катодными лампами, радиоаппаратурой. Человек с тонкими губами озорно крикнул:

– А ну, штаб дивизии! Проверьте личное оружие, взять гранаты – и за мной, отразим противника!

И в его голосе и глазах, быстро, властно скользнувших по Крымову, много было ледяного и жгучего боевого спирта. На миг показалось – не в опыте, не в знании карты, а в жестокой и безудержной, озорной душе главная сила этого человека!

Через несколько минут офицеры штаба, писаря, связные, телефонисты, неловко и торопливо толкаясь, вываливались из штабной трубы, и впереди, освещенный боевым, мерцающим огнем, легким шагом бежал Родимцев, стремясь к оврагу, откуда раздавались взрывы, выстрелы, крики и брань.

Когда, задохнувшись от бега, Крымов одним из первых добрался до края оврага и поглядел вниз, его содрогнувшееся сердце почувствовало соединенное чувство гадливости, страха, ненависти. На дне расселины мелькали неясные тени, вспыхивали и гасли искры выстрелов, загорался то зеленый, то красный глазок, а в воздухе стоял непрерывный железный свист. Казалось, Крымов заглянул в огромную змеиную нору, где сотни потревоженных ядовитых существ, шипя, сверкая глазами, быстро расползались, шурша среди сухого бурьяна.

И с чувством ярости, отвращения, страха он стал стрелять из винтовки по мелькавшим во тьме вспышкам, по быстрым теням, ползавшим по склонам оврага.

В нескольких десятках метров от него немцы появились на гребне оврага. Частый грохот ручных гранат тряс воздух и землю – штурмовая немецкая группа стремилась прорваться к устью трубы.

Тени людей, вспышки выстрелов мелькали во мгле, крики, стоны то вспыхивали, то гасли. Казалось, кипит большой черный котел, и Крымов весь, всем телом, всей душой погрузился в это булькающее, пузырящееся кипение и уж не мог мыслить, чувствовать, как мыслил и чувствовал прежде. То казалось, он правит движением захватившего его водоворота, то ощущение гибели охватывало его, и казалось, густая смоляная тьма льется ему в глаза, в ноздри, и уж нет воздуха для дыхания и нет звездного неба над головой, есть лишь мрак, овраг и страшные существа, шуршащие в бурьяне.

Казалось, нет возможности разобраться в том, что происходит, и в то же время силилось очевидное, по-дневному ясное чувство связи с людьми, ползущими по откосу, чувство своей силы, соединенной с силой стреляющих рядом с ним, чувство радости, что где-то рядом находится Родимцев.

Это удивительное чувство, возникшее в ночном бою, где в трех шагах не различишь, кто это рядом – товарищ или готовый убить тебя враг, связывалось со вторым, не менее удивительным и необъяснимым ощущением общего хода боя, тем ощущением, которое давало солдатам возможность судить об истинном соотношении сил в бою, предугадывать ход боя.

11

Ощущение общего исхода боя, рожденное в человеке, отъединенном от других дымом, огнем, оглушенном, часто оказывается более справедливым, чем суждение об исходе боя, вынесенное за штабной картой.

В миг боевого перелома иногда происходит изумительное изменение, когда наступающий и, кажется, достигший своей цели солдат растерянно оглядывается и перестает видеть тех, с кем дружно вместе начинал движение к цели, а противник, который все время был для него единичным, слабым, глупым, становится множественным и потому непреодолимым. В этот ясный для тех, кто переживает его, миг боевого перелома, таинственный и необъяснимый для тех, кто извне пытается предугадать и понять его, происходит душевное изменение в восприятии: лихое, умное «мы» обращается в робкое, хрупкое «я», а неудачливый противник, который воспринимался как единичный предмет охоты, превращается в ужасное и грозное, слитное «они».

Раньше все события боя воспринимались наступающим и успешно преодолевающим сопротивление по отдельности: разрыв снаряда... пулеметная очередь... вот он, этот, за укрытием стреляет, сейчас он побежит, он не может не побежать, так как он один, по отдельности от той своей отдельной пушки, от того своего отдельного пулемета, от того, соседнего ему, стреляющего тоже по отдельности солдата, а я – это мы, я – это вся громадная, идущая в атаку пехота, я – это поддерживающая меня артиллерия, я – это поддерживающие меня танки, я – это ракета, освещающая наше общее боевое дело. И вдруг – я остаюсь один, а все, что было раздельно и потому слабо, сливается в ужасное единство вражеского ружейного, пулеметного, артиллерийского огня, и нет уже силы, которая помогла бы мне преодолеть это единство. Спасение – в моем бегстве, в том, чтобы спрятать мою голову, укрыть плечо, лоб, челюсть.

А во тьме ночи подвергнувшись внезапному удару и поначалу чувствовавшие себя слабыми и отдельными начинают расчленять единство обрушившегося на них неприятеля и ощущать собственное единство, в котором и есть сила победы.

В понимании этого перехода часто и лежит то, что дает право военному делу называться искусством.

В этом ощущении единичности и множественности, в переходе сознания от понятия единичности к понятию множественности не только связь событий при ночных штурмах рот и батальонов, но и знак военных усилий армий и народов.

Есть одно ощущение, которое почти целиком теряется участниками боя, – это ощущение времени. Девочка, протанцевавшая на новогоднем балу до утра, не сможет ответить, каково было ее ощущение времени на балу – долгим ли или, наоборот, коротким.

И шлиссельбуржец, отбывший двадцать пять лет заключения, скажет: «Мне кажется, что я провел в крепости вечность, но одновременно мне кажется, что я провел в крепости короткие недели».

У девочки ночь была полна мимолетных событий – взглядов, отрывков музыки, улыбок, прикосновений, – каждое это событие казалось столь стремительным, что не оставляло в сознании ощущения протяженности во времени. Но сумма этих коротких событий породила ощущение большого времени, вместившего всю радость человеческой жизни.

У шлиссельбуржца происходило обратное – его тюремные двадцать пять лет складывались из томительно длинных отдельных промежутков времени, от утренней поверки до вечерней, от завтрака до обеда. Но сумма этих бедных событий, оказалось, породила новое ощущение – в сумрачном однообразии смены месяцев и годов время сжалось, сморщилось... Так возникло одновременное ощущение краткости и бесконечности, так возникло сходство этого ощущения в людях новогодней ночи и в людях тюремных десятилетий. В обоих случаях сумма событий порождает одновременное чувство длительности и краткости.

Более сложен процесс деформации ощущения длительности и краткости времени, переживаемый человеком в бою. Здесь дело идет дальше, здесь искажаются, искривляются отдельные, первичные ощущения. В бою секунды растягиваются, а часы сплющиваются. Ощущение длительности связывается с молниеносными событиями – свистом снарядов и авиабомб, вспышками выстрелов и вспышками взрывов.

Ощущение краткости соотносится к событиям протяженным – к движению по вспаханному полю под огнем, к переползанию от укрытия к укрытию. А рукопашный бой происходит вне времени. Здесь неопределенность проявляется и в слагающих, и в результате, здесь деформируются и сумма, и каждое слагаемое.

А слагаемых здесь бесконечное множество.

Ощущение продолжительности боя в целом столь глубоко деформировано, что оно является полной неопределенностью – не связывается ни с длительностью, ни с краткостью.

В хаосе, в котором смешались слепящий свет и слепящая тьма, крики, грохот разрывов, скоропечать автоматов, в хаосе, раздравшем в клочья ощущение времени, с поразительной ясностью Крымов понял: немцы смяты, немцы побиты. Он понял это так же, как и те писаря и связные, что стреляли рядом с ним, – внутренним чувством.

12

Ночь прошла. Среди опаленного бурьяна валялись тела убитых. Безрадостно и угрюмо дышала у берегов тяжелая вода. Тоска охватывала сердца при взгляде на разрытую землю, на пустые коробки выгоревших домов.

Начинался новый день, и война готовилась щедро – по самый край – наполнить его дымом, щебенкой, железом, грязными, окровавленными бинтами. А позади были такие же дни. И ничего уже не было в мире, кроме этой вспаханной железом земли, кроме неба в огне.

Крымов сидел на ящике, прислонившись головой к каменной обшивке трубы, и дремал.

Он слушал неясные голоса сотрудников штаба, слышал позвякивание чашек – комиссар дивизии и начальник штаба пили чай, переговаривались сонными голосами. Говорили, что захваченный пленный оказался сапером; батальон его был на самолетах переброшен несколько дней назад из Магдебурга. В мозгу Крымова мелькнула картинка из детского учебника: два задастых битюга, подгоняемых погонщиками в остроконечных колпаках, пытаются отодрать присосавшиеся друг к другу полушария. И чувство скуки, которое вызывала в нем в детстве эта картинка, вновь коснулось его.

– Это хорошо, – сказал Вельский, – значит, резервы подобрались.

– Да уж, конечно, хорошо, – согласился Вавилов, – штаб дивизии в контратаку ходит.

И тут Крымов услышал негромкий голос Родимцева:

– Цветочки, цветочки, ягодки на заводах будут.

Казалось, все силы души Крымов истратил в этом ночном бою. Для того чтобы увидеть Родимцева, надо было повернуть голову, но Крымов не повернул головы. «Так пусто, вероятно, себя чувствует колодец, из которого вычерпали всю воду», – подумал он. Он снова задремал, и негромкие голоса, звуки стрельбы и разрывов слились в однотонное гудение.

Но вот новое ощущение вошло в мозг Крымова, и ему померещилось, что он лежит в комнате с закрытыми ставнями и следит за пятном утреннего света на обоях. Пятно доползло до ребра стенового зеркала и раскрылось радугой. Сердце мальчика задрожало, человек с седыми висками, с висящим у пояса тяжелым пистолетом открыл глаза и оглянулся.

Посреди трубы, в старенькой гимнастерке, в пилоточке с зеленой фронтальной звездочкой стоял, склонив голову, музыкант и играл на скрипке.

Вавилов, увидев, что Крымов проснулся, наклонился к нему и сказал:

– Это наш парикмахер, Рубинчик, ба-альшой специалист!

Иногда кто-нибудь бесцеремонно перебивал игру шутливым грубым словом, иногда кто-нибудь, заглушая музыканта, спрашивал «разрешите обратиться?» – рапортовал начальнику штаба, постукивала ложечка в жестяной кружке, кто-то протяжно зевнул: «Охо-хо-хо-хо...» – и стал взбивать сено.

Парикмахер внимательно следил, не мешает ли его игра командирам, готовый в любую минуту прервать ее.

Но почему Ян Кубелик, вспомнившийся Крымову в эти минуты, седой, в черном фраке, отступил, склонившись перед штабным парикмахером? Почему тонкий, дребезжащий голос скрипки, поющий незамысловатую, как мелкий ручеек, песенку, казалось, выражал в эти минуты сильнее, чем Бах и Моцарт, всю просторную глубину человеческой души?

Снова в тысячный раз Крымов ощутил боль одиночества. Женя ушла от него...

Снова с горечью он подумал, что уход Жени выразил всю механику его жизни: он остался, но его не стало. И она ушла.

Снова он подумал, что надо сказать самому себе много страшного, беспощадно жестокого... полно робеть, прикрываться перчаткою...

Музыка, казалось, вызвала в нем понимание времени.

Время – прозрачная Среда, в которой возникают, движутся, бесследно исчезают люди... Во времени возникают и исчезают массивы городов. Время приносит их и уносит.

Но в нем возникло совсем особое, другое понимание времени. То понимание, которое говорит: «Мое время... не наше время».

Время втекает в человека и в царство-государство, гнездится в них, и вот время уходит, исчезает, а человек, царство остаются... царство осталось, а его время ушло... человек есть, а время его исчезло. Где оно? Вот человек, он дышит, он мыслит, он плачет, а то единственное, особое, только с ним связанное время ушло, уплыло, утекло. И он остается.

Самое трудное – быть пасынком времени. Нет тяжелее участи пасынка, живущего не в свое время. Пасынков времени распознают сразу – в отделах кадров, в райкомах партии, в

армейских политотделах, в редакциях, на улице... Время любит лишь тех, кого оно породило, – своих детей, своих героев, своих тружеников. Никогда, никогда не полюбит оно детей ушедшего времени, и женщины не любят героев ушедшего времени, и мачехи не любят чужих детей.

Вот таково время – все уходит, а оно остается. Все остается, одно время уходит. Как легко, бесшумно уходит время. Вчера еще ты был так уверен, весел, силен: сын времени. А сегодня пришло другое время, но ты еще не понял этого.

Время, растерзанное в бою, возникло из фанерной скрипки парикмахера Рубинчика. Скрипка сообщала одним, что время их пришло, другим – что время их уходит.

«Ушло, ушло», – подумал Крымов.

Он смотрел на спокойное, добродушное, большое лицо комиссара Вавилова. Вавилов прихлебывал из кружки чай, старательно, медленно жевал хлеб с колбаской, его непроницаемые глаза были повернуты к светлевшему в устье трубы пятну света.

Родимцев, зябко поднявши прикрытые шинелью плечи, со спокойным и ясным лицом, внимательно, в упор смотрел на музыканта. Рябоватый седой полковник, начальник артиллерии дивизии, наморщив лоб, отчего лицо его казалось недоброе, смотрел на лежащую перед ним карту, и лишь по грустным милым глазам его видно было, что карты он не видит, слушает. Вельский быстро писал донесение в штаб армии; он, казалось, был занят только делом, но писал он, склонив голову и повернув ухо в сторону скрипача. А поодаль сидели красноармейцы – связные, телефонисты, писаря, и на их изнеможенных лицах, в их глазах было выражение серьезности, какое возникает на лице крестьянина, жующего хлеб.

Вдруг вспомнилась Крымову летняя ночь – большие темные глаза молодой казачки, ее жаркий шепот... Хороша все же жизнь!

Когда скрипач перестал играть, стало слышно тихое журчание – под деревянным настилом бежала вода, и Крымову показалось, что душа его – вот тот самый невидимый колодец, который стал пуст, сух, а теперь потихоньку вбирает в себя воду.

Полчаса спустя скрипач брил Крымова и со смешанной обычно посетителей парикмахерских преувеличенной серьезностью спрашивал, не беспокоит ли Крымова бритва, щупал ладонью – хорошо ли выбриты крымские скулы. В угрюмом царстве земли и железа пронзительно странно, нелепо и грустно запахло одеколоном и пудрой.

Родимцев, прищурившись, оглядел poprисыпанного одеколоном и напудренного Крымова, удовлетворенно кивнул и сказал:

– Что ж, гостя побрил на совесть. Теперь меня давай обработай.

Темные большие глаза скрипача наполнились счастьем. Разглядывая голову Родимцева, он встряхнул беленькую салфеточку и произнес:

– Может быть, височки все-таки подправим, товарищ гвардии генерал-майор?

13

После пожара нефтехранилищ генерал-полковник Еременко собрался к Чуйкову в Сталинград.

Эта опасная поездка не имела никакого практического смысла.

Однако душевная, человеческая необходимость в ней была велика, и Еременко потерял три дня, ожидая переправы.

Спокойно выглядели светлые стены блиндажа в Красном Саду, приятна была тень яблонь во время утренних прогулок командующего.

Далекий грохот и огонь Сталинграда сливались с шумом листвы и с жалобой камыша, и в этом соединении было что-то непередаваемо тяжелое, командующий во время утренних прогулок кряхтел и матерился.

Утром Еременко сообщил Захарову о своем решении отправиться в Сталинград и велел ему принять на себя командование.

Он пошутил с официанткой, расстилавшей скатерть для завтрака, разрешил заместителю начальника штаба слетать на два дня в Саратов, он внял просьбе генерала Труфанова, командовавшего одной из степных армий, и обещал ему по-бомбить мощный артиллерийский узел румын. «Ладно, ладно, дам тебе дальнебойных самолетов», – сказал он.

Адъютанты гадали, чем вызвано хорошее настроение командующего. Добрые вести от Чуйкова? Благоприятный разговор по телефону ВЧ? Письмо из дому?

Но все такие и подобные известия обычно не проходили мимо адъютантов – Москва не вызывала командующего, а вести от Чуйкова не были веселыми.

После завтрака генерал-полковник надел ватник и отправился на прогулку. Шагах в десяти от него шел адъютант Пархоменко. Командующий шел по-обычному неторопливо, несколько раз он почесывал ляжку и поглядывал в сторону Волги.

Еременко подошел к бойцам трудового батальона, рывшим котлован. Это были пожилые люди с темно-коричневыми от загара затылками. Лица их были угрюмы и невеселы. Работали они молча и сердито поглядывали на полнотелого человека в зеленой фуражке, в бездействии стоявшего на краю котлована.

Еременко спросил:

– Скажите-ка, ребята, кто из вас хуже всех работает?

Бойцам трудового батальона вопрос показался подходящим, им надоело махать лопатами. Бойцы все вместе покосились на мужика, вывернувшего карман и ссыпавшего на ладонь махорочную труху и хлебные крошки.

– Да пожалуй, он, – сказали двое и оглянулись на остальных.

– Так, – серьезно произнес Еременко, – значит, этот. Вот самый лядачий.

Боец с достоинством вздохнул, глянул снизу на Еременко серьезными кроткими глазами и, видимо, решив, что вопрошавший интересуется всем этим не для дела, а просто так, для истории либо для пополнения образования, не стал вмешиваться в разговор.

Еременко спросил:

– А кто же из вас лучше всех работает?

И все показали на седого человека; поредевшие волосы не предохраняли его голову от загара, как не предохраняет землю от солнечных лучей чахлая трава.

– Трошников, вот он, – сказал один, – старается очень.

– Привык работать, ничего с собой поделывать не может, – подтвердили остальные, как бы извиняясь за Трошникова.

Еременко полез в карман брюк, извлек сверкнувшие на солнце золотые часы и, с трудом нагнувшись, протянул их Трошникову.

Тот, не поняв, глядел на Еременко.

– Бери, это тебе награда, – сказал Еременко.

Продолжая глядеть на Трошникова, он сказал:

– Пархоменко, оформи награждение грамотой.

Он пошел дальше, слыша, как за спиной его загудело от возбужденных голосов, землянок охали, смеялись невиданной удаче привычного к работе Трошникова.

Два дня ожидал командующий фронтом переправы. Связь с правым берегом в эти дни была почти порвана. Катера, которым удавалось прорваться к Чуйкову, за считанные минуты пути получали по пятьдесят – семьдесят пробоин, подходили к берегу залитые кровью.

Еременко сердился, раздражался.

Начальство на шестьдесят второй переправе, слыша немецкую пальбу, страшилось не бомб и снарядов, а гнева командующего. Еременко казалось, что нерадивые майоры и нерасторопные капитаны виноваты в бесчинствах немецких минометов, пушек и авиации.

Ночью Еременко вышел из землянки и стоял на песчаном холмике близ воды.

Карта войны, лежавшая перед командующим фронтом в блиндаже в Красном Саду, здесь гремела, дымилась, дышала жизнью и смертью.

Казалось, он узнавал огненный пунктир прочерченного его рукой переднего края, узнавал толстые клинья паулюсовских прорывов к Волге, отмеченные его цветными карандашами узлы обороны и места скопления огневых средств. Но, глядя на карту, раскрытую на столе, он чувствовал себя в силе гнуть, двигать линию фронта, он мог заставить взрывать тяжелую артиллерию левобережья. Там чувствовал он себя хозяином, механиком.

Здесь совсем другое чувство охватило его... Зарево над Сталинградом, медленный гром в небе – все это потрясло своей огромной, не зависящей от командующего страстью и силой.

Среди грохота пальбы и разрывов со стороны заводов доносился чуть слышный протяжный звук: а-а-а-а-а...

В этом протяжном крике поднявшейся в контратаку сталинградской пехоты было нечто не только грозное, но и печальное, тоскливое.

– А-а-а-а-а, – разносилось над Волгой... Боевое «ура», пройдя над холодной ночной водой под звездами осеннего неба, словно теряло горячность страсти, менялось, и в нем вдруг открывалось совсем другое существо – не задор, не лихость, а печаль души, словно прощающейся со всем дорогим, словно зовущей близких своих проснуться, поднять голову от подушки, послушать в последний раз голос отца, мужа, сына, брата...

Солдатская тоска сжала сердце генерал-полковника.

Война, которую командующий привык толкать, вдруг втянула его в себя, он стоял тут, на сыпучем песке, одинокий солдат, потрясенный огромностью огня и грома, стоял, как стояли тут, на берегу, тысячи и десятки тысяч солдат, чувствовал, что народная война больше, чем его умение, его власть и воля. Может быть, в этом ощущении и было то самое высшее, до чего суждено было подняться генералу Еременко в понимании войны.

Под утро Еременко переправился на правый берег. Предупрежденный по телефону Чуйков подошел к воде, следил за стремительным ходом бронекатера.

Еременко медленно сошел, прогибая своей тяжестью выброшенный на берег трап, неловко ступая по каменистому берегу, подошел к Чуйкову.

– Здравствуй, товарищ Чуйков, – сказал Еременко.

– Здравствуйте, товарищ генерал-полковник, – ответил Чуйков.

– Приехал посмотреть, как вы тут живете. Вроде ты не обгорел при нефтяном пожаре. Такой же лохматый. И не похудел даже. Кормим мы тебя все же неплохо.

– Где ж худеть, сию день и ночь в блиндаже, – ответил Чуйков, и, так как ему показались обидными слова командующего, что кормят его неплохо, он сказал: – Что же это я гостя принимаю на берегу!

И действительно, Еременко рассердился, что Чуйков назвал его сталинградским гостем. И когда Чуйков сказал: «Пожалуйста ко мне в хату» – Еременко ответил: «Мне и тут хорошо, на свежем воздухе».

В это время заговорила из Заволжья громкоговорительная установка.

Берег был освещен пожарами и ракетами, вспышками взрывов и казался пустынным. Свет то мерк, то разгорался, секундами он вспыхивал с ослепительной белой силой. Еременко всматривался в береговой откос, изрытый ходами сообщения, блиндажами, в громоздившиеся вдоль воды груды камня, они выступали из тьмы и легко и быстро вновь уходили во тьму.

Огромный голос медленно, веско пел:

Пусть ярость благородная вскипает, как волна,
Идет война народная, священная война...

И так как людей на берегу и на откосе не было видно, и так как всё кругом – и земля, и Волга, и небо – было освещено пламенем, казалось, что эту медленную песню поет сама война, поет без людей, помимо них катит пудовые слова.

Еременко чувствовал неловкость за свой интерес к открывшейся ему картине: в самом деле, он словно в гости приехал к сталинградскому хозяину. Он сердился, что Чуйков, видимо, понял душевную тревогу, заставившую его переправиться через Волгу, знал, как томился командующий фронтом, гуляя под шелест сухого камыша в Красном Саду.

Еременко стал спрашивать хозяина всей этой огненной беды о маневрировании резервами, о взаимодействии пехоты и артиллерии и о сосредоточении немцев в районе заводов. Он задавал вопросы, и Чуйков отвечал, как и полагается отвечать на вопросы старшего начальника.

Они помолчали. Чуйкову хотелось спросить: «Величайшая в истории оборона, но как же с наступлением все-таки?»

Но он не решился спрашивать – Еременко подумает, что не хватает у защитников Сталинграда терпения, просят снять тяжесть с плеч.

Вдруг Еременко спросил:

– Твой отец с матерью, кажется, в Тульской области, в деревне живут?

– В Тульской, товарищ командующий.

– Пишет старик тебе?

– Пишет, товарищ командующий. Работает еще.

Они поглядели друг на друга, стекла очков Еременко розовели от огня пожара.

Казалось, вот-вот начнется единственно нужный им обоим разговор о простой сути Сталинграда. Но Еременко сказал:

– Ты, верно, интересуешься вопросом, который всегда командующему фронтом задают, – насчет пополнений живой силой и боеприпасами?

Разговор, единственно имевший смысл в этот час, так и не состоялся.

Стоявший на гребне откоса часовой поглядывал вниз, и Чуйков, следя за свистом снаряда, поднял глаза и проговорил:

– Красноармеец, вероятно, думает: что за два чудака стоят там у воды?

Еременко посопел, ковырнул в носу.

Подошел момент, когда надо было прощаться. По неписаной морали начальник, стоящий под огнем, обычно уходит, лишь когда подчиненные начинают просить его об этом. Но безразличие Еременко к опасности было так полно и естественно, что эти правила не касались его.

Он рассеянно и одновременно зорко повернул голову следом за свистящим звуком пролетевшей мины.

– Ну что ж, Чуйков, пора мне ехать.

Чуйков стоял несколько мгновений на берегу, следя за уходившим катером, – пенный след за кормой напоминал ему белый платок, словно женщина, прощаясь, махала им.

Еременко, стоя на палубе, глядел на заволжский берег – он волнообразно колыхался в неясном свете, идущем от Сталинграда, а река, по которой прыгал катер, застыла, как каменная плита.

Еременко с досадой прошел от борта к борту. Десятки привычных мыслей возникли в его голове. Новые задачи стояли перед фронтом. Главным теперь было накапливание бронетанковых сил, порученная ему Ставкой подготовка удара на левом фланге. Ни слова он не сказал об этом Чуйкову.

А Чуйков вернулся в свой блиндаж, и автоматчик, стоявший у входа, и порученец в сенцах, и явившийся по вызову начальник штаба гурьевской дивизии, – все, кто вскочил, слышав тяжелую походку Чуйкова, увидели, что командарм расстроен. Да и было отчего.

Ведь тают, тают дивизии, ведь в смешении атак и контратак немецкие клинья неуклонно срезают драгоценные метры сталинградской земли. Ведь две свежие пехотные дивизии полного состава прибыли из германского тыла и сосредоточены в районе Тракторного завода, зловеще бездействуют.

Нет, не высказал Чуйков перед командующим фронтом всех своих опасений, тревог, мрачных мыслей.

Но ни тот, ни другой не знали, в чем была причина их неудовлетворенности этой встречей. Главным в их встрече было надделовое, то, что оба они не сумели вслух высказать.

14

Октябрьским утром майор Березкин проснулся, подумал о жене и дочери, о крупнокалиберных пулеметах, прислушался к ставшему за месяц его сталинградской жизни привычным грохоту, позвал автоматчика Глушкова и велел принести себе помыться.

– Холодная, как вы приказывали, – сказал Глушков, улыбаясь и переживая удовольствие, которое испытывал Березкин от утреннего умывания.

– А на Урале, где жена и дочка, уже снежок, наверное, выпал, – сказал Березкин, – не пишут они мне, вот, понимаешь...

– Напишут, товарищ майор, – сказал Глушков.

Пока Березкин вытирался, надевал гимнастерку, Глушков рассказывал ему о событиях, произошедших в утренние часы.

– По пищеблоку ударил «ванюшей», кладовщика убило, во втором батальоне помначштаба вышел оправиться, его в плечо осколком подранило; в саперном батальоне бойцы судака, глушенного бомбой, выловили, кило на пять, я ходил смотреть, комбату, товарищу капитану Мовшовичу, в подарок снесли. Заходил товарищ комиссар, велел, когда проснетесь, позвонить.

– Понятно, – сказал Березкин. Он выпил чашку чаю, поел студня из телячьих ножек, позвонил комиссару и начальнику штаба, сказал, что отправляется в батальоны, надел ватник и пошел к двери.

Глушков встряхнул полотенце, повесил его на гвоздик, пощупал гранату на боку, похлопал себя по карману – на месте ли кисет – и, взяв в углу автомат, пошел за командиром полка.

Березкин вышел из полутемного блиндажа и зажмурился от белого света. Ставшая за месяц знакомой картина лежала перед ним – глинистая осыпь, бурый откос весь в пятнах засаленных плащ-палаток, прикрывавших солдатские землянки, дымящие трубы самодельных печей. Наверху темнели заводские корпуса со снесенными крышами.

Левее, ближе к Волге, возвышались заводские трубы «Красного Октября», громоздились товарные вагоны, как ошалевшее стадо, сбившееся вокруг тела убитого вожака, лежащего на боку паровоза. А еще дальше виднелось широкое кружево мертвых городских развалин, и осеннее небо просвечивало сквозь бреши окон тысячами голубых пятен.

Меж заводских цехов поднимался дым, мелькало пламя, и ясный воздух был полон то тягучим шелестом, то сухим, дробным тархтением. Казалось, что заводы работают полным ходом.

Березкин внимательно оглядел свои триста метров земли – оборону полка, – она проходила среди домиков рабоче го поселка. Внутреннее чувство помогало в путанице развалин, улочек ощутить, в каком доме варят кашу красноармейцы, в каком едят шпик и пьют шнапс немецкие автоматчики.

Березкин пригнул голову и ругнулся, прошелестела в воздухе мина.

На противоположном склоне оврага дым закрыл вход в один из блиндажей, и тотчас же звонко треснул разрыв. Из блиндажа выглянул начальник связи соседней дивизии, – он был без кителя, в подтяжках. Едва он сделал шаг, как снова засвистело, и начальник связи поспешно

отступил и прихлопнул дверь – мина разорвалась метрах в десяти. В дверях блиндажа, расположенного на углу оврага и волжского откоса, стоял Батюк и наблюдал происходившее.

Когда начальник связи попытался шагнуть вперед, Батюк, гакая, кричал: «Огонь!» – и немец, как по заказу, пускал мину.

Батюк заметил Березкина и крикнул ему:

– Здорово, сосед!

Эта проходка по пустынной тропинке по существу своему была ужасным, смертным делом – немцы, выпавшись и покушав фрюштик, наблюдали за тропинкой с особым интересом, садили, не жалея припасов, по всякому. На одном из поворотов Березкин постоял у груды скрапа и, промерив глазом лукаво задумавшееся пространство, проговорил:

– Давай, Глушков, беги первый.

– Что вы, разве можно, тут снайпер у них, – сказал Глушков.

Перебегать первым опасное место считалось привилегией начальников, немцы обычно не успевали открыть огонь по первому бегущему.

Березкин оглянулся на немецкие дома, подмигнул Глушкову и побежал.

Когда он подбежал к насыпи, закрывавшей обзор из немецких домов, за спиной его четко чокнуло, щелкнуло – немец стрельнул разрывной пулей.

Березкин, стоя под насыпью, стал закуривать. Глушков побежал длинным, быстрым шагом. Очередь резанула ему под ноги, казалось, с земли взлетела стайка воробьев. Глушков метнулся в сторону, споткнулся, упал, вновь вскочил и подбежал к Березкину.

– Чуть не срезал, – сказал он и, отдышавшись, объяснил: – Я думал подгадать: он вас пропустил и с досады сигарету закуривать станет, а он, холера, видно, некурящий.

Глушков пощупал обкромсанную полу ватника и обматерил немца.

Когда они подошли к командному пункту батальона, Березкин спросил:

– Подранило, товарищ Глушков?

– Он мне каблук отгрыз, совсем раздел, подлец, – сказал Глушков.

Командный пункт батальона находился в подвале заводского магазина «Гастроном», и в сыром воздухе стоял запах квашеной капусты и яблок.

На столе горели два высоких светильника из снарядных гильз. Над дверью был прибит плакат: «Продавец и покупатель, будьте взаимно вежливы».

В подвале размещались штабы двух батальонов – стрелкового и саперного. Оба комбата, Подчуфаров и Мовшович, сидели за столом и завтракали. Открывая дверь, Березкин услышал оживленный голос Подчуфарова:

– Я разбавленный спиридон не люблю, по мне, его бы вовсе не было.

Оба комбата поднялись, вытянулись. Начальник штаба спрятал под грудой ручных гранат четвертинку водки, а повар заслонил своим телом судака, о котором минуту назад беседовал с ним Мовшович. Вестовой Подчуфарова, сидевший на корточках и собиравшийся поставить по указанию своего начальника на патефонный диск пластинку «Китайская серенада», вскочил так быстро, что успел лишь скинуть пластинку, а патефонный моторчик продолжал жужжать вхолостую: вестовой, глядя прямым и открытым взором, как и следовало боевому солдату, ловил уголком глаза злой взгляд Подчуфарова, когда проклятый патефон особенно трудолюбиво подвывал и курлыкал.

Оба комбата и остальные, причастные к завтраку, хорошо знали предрассудок начальников: старшие полагали – батальонные люди должны либо вести бои, либо глядеть в бинокль на противника, либо размышлять, склонившись над картой. Но ведь люди не могут двадцать четыре часа стрелять, говорить по телефону с ниже- и вышестоящими, – надо и покушать.

Березкин покосился в сторону журчащего патефона и усмехнулся.

– Так, – сказал он и добавил: – Садитесь, товарищи, продолжайте.

Слова эти имели, возможно, обратный, а не прямой смысл, и на лице Подчуфарова появилось выражение грусти и раскаяния, а на лице Мовшовича, командовавшего отдельным саперным батальоном и потому непосредственно не подчиненного командиру полка, – выражение одной лишь грусти, без раскаяния. Примерно так же разделились выражения лиц, подчиненных им.

Березкин продолжал особо неприятным тоном:

– А где судак ваш на пять килограмм, товарищ Мовшович, о нем уж в дивизии все знают.

Мовшович с тем же выражением грусти сказал:

– Повар, покажите, пожалуйста, рыбу.

Повар, единственный находившийся при исполнении своих прямых обязанностей, прямодушно сказал:

– Товарищ капитан велел пофаршировать его по-еврейски; перец, лавровый лист есть, а вот хлеба белого нет, и хрену не будет...

– Так, понятно, – сказал Березкин, – фаршированную рыбу я в Бобруйске ел у одной Фиры Ароновны, по правде говоря, не совсем понравилась.

И вдруг люди в подвале поняли, что командиру полка даже не приходило в голову сердиться.

Словно Березкин знал о том, что Подчуфаров отбивал ночных немцев, что под утро его присыпало землей и вестовой, наладчик «Китайской серенады», откапывал его и кричал: «Не сомневайтесь, товарищ капитан, выручу...»

Словно он знал, что Мовшович ползал с саперами по танкоопасной улочке и присыпал землей и битым кирпичом шахматный узор противотанковых мин...

Их молодость радовалась еще одному утру, можно еще раз поднять жестяную кружечку и сказать: «Эх, будь здоров, и тому подобное» – и можно жевать капусту, дымить папироской...

Собственно, ничего не произошло – минутку хозяева подвала постояли перед старшим командиром, потом предложили ему покушать с ними, с удовольствием глядели, как командир полка ел капусту.

Березкин часто сравнивал сталинградское сражение с прошедшим годом войны – видел он ее немало. Он понял, что выдерживает такое напряжение лишь потому, что в нем самом живут тишина и покой. И красноармейцы могли есть суп, чинить обувь, вести разговор о женах, о плохих и хороших начальниках, мастерить ложки в такие дни и часы, когда, казалось, люди способны испытывать лишь бешенство, ужас либо изнеможение. Он видел, что не имевшие в себе покойной душевной глубины долго не выдерживали, как бы отчаянны и безрассудны в бою они ни были. Робость, трусость казались Березкину временным состоянием, чем-то вроде простуды, которую можно вылечить.

Что такое храбрость и трусость, он твердо не знал. Однажды в начале войны начальство распекало Березкина за робость – он самочинно отвел полк из-под немецкого огня. А незадолго до Сталинграда Березкин приказал командиру батальона отвести людей на обратный скат высоты, чтобы их зря не обстреливали немецкие хулиганы-минометчики. Командир дивизии с упреком сказал:

– Что ж это, товарищ Березкин, а мне про вас говорили как о человеке храбром, спокойном.

Березкин молчал, вздохнул, – должно быть, говорившие ошиблись в нем.

Подчуфаров, ярко-рыжий, с яркими голубыми глазами, с трудом сдерживал свою привычку быстро, неожиданно смеяться и неожиданно сердиться. Мовшович, худой, с длинным веснушчатый лицом, с пятнами седых волос на темной голове, сипло отвечал на вопросы Березкина. Он вытащил блокнот и стал рисовать предложенную им новую схему минирования танкоопасных участков.

– Вырвите мне этот чертежик на память, – сказал Березкин, наклонился к столу и вполголоса произнес: – Меня вызывал командир дивизии. По данным армейской разведки, немцы уводят силы из городского района, сосредоточивают их против нас. Танков много. Понятно?

Березкин прислушался к близкому разрыву, потрясшему стены подвала, и улыбнулся.

– А у вас тут спокойно. В моем овраге за это время уже обязательно человека три побывали бы из штаба армии, разные комиссии все ходят.

В это время новый удар потряс здание, с потолка посыпались куски штукатурки.

– А ведь верно, спокойно, никто особенно не беспокоит, – сказал Подчуфаров.

– Вот в том-то и дело, что не беспокоят, – сказал Березкин.

Он заговорил доверительно, вполголоса, искренне забывая, что он и есть начальство, забыв об этом от привычки быть подчиненным и непривычки быть начальством.

– Знаете, как начальство? Почему не наступаешь? По чему не занял высоту? Почему потери? Почему без потерь? Почему не доносишь? Почему спишь? Почему...

Березкин поднялся.

– Пойдемте, товарищ Подчуфаров, хочу вашу оборону посмотреть.

Пронзительная печаль была в этой улочке рабочего поселка, в обнажившихся внутренних стенах, обклеенных пестренькими обоями, во вспаханных танками садиках и огородах, в одиноких, кое-где уцелевших осенних георгинах, цветущих бог весть зачем.

Неожиданно Березкин сказал Подчуфарову:

– Вот, товарищ Подчуфаров, писем от жены нет. Нашел я ее в дороге, а теперь опять нет писем, знаю только, что на Урал с дочкой поехали.

– Напишут, товарищ майор, – сказал Подчуфаров.

В полуподвале двухэтажного дома, под заложёнными кирпичом окнами, лежали раненые, ожидавшие ночной эвакуации. На полу стояло ведро с водой, кружка, меж окон напротив двери была прибита к стене картинка-открытка «Сватовство майора».

– Это тылы, – сказал Подчуфаров, – передний край дальше.

– Дойдем и до переднего края, – сказал Березкин.

Они прошли через переднюю в комнату с проваленным потолком, и чувство, которое испытывают люди, пришедшие из заводской конторы в двери цеха, охватило их. В воздухе стоял тревожный и перченный дух пороховых газов, под ногами скрипели пегие, выстрелянные патроны. В детской кремовой коляске были сложены противотанковые мины.

– Вот развалюшку у меня ночью немец забрал, – сказал Подчуфаров, подходя к окну. – До чего жалко, дом замечательный, окна на юго-запад. Весь мой левый край под огнем держит.

У заложённых кирпичом окон с узкими прорезьями стоял станковый пулемет, пулеметчик без пилотки, с обвязанной пропыленным и задымленным бинтом головой, заправлял новую ленту, а первый номер, обнажив белые зубы, сжевывал кусок колбасы, готовясь через полминуты снова стрелять.

Подошел командир роты, лейтенант. В кармашек его гимнастерки была вставлена белая астра.

– Орел, – улыбаясь, сказал Березкин.

– Вот хорошо, что вас вижу, товарищ капитан, – сказал лейтенант, – как я вам ночью сказал, так и есть, опять они пошли на дом номер «шесть дробь один». Ровно в девять начали, – и он посмотрел на часы.

– Здесь стоит командир полка, ему докладывайте.

– Виноват, не признал, – быстро козырнул лейтенант.

Шесть дней назад противник отрезал в районе полка несколько домов и начал по-немецки обстоятельно сжевывать их. Советская оборона гасла под развалинами, гасла вместе с жизнью оборонявшихся красноармейцев. Но в одном заводском доме с глубокими подвалами советская оборона продолжала держаться. Крепкие стены выдерживали удары, хотя и были во

многих местах прошиблены снарядами и изгрызены минами. Немцы пытались сокрушить это здание с воздуха, и трижды самолеты-торпедоносцы пускали на него разрушительные торпеды. Вся угловая часть дома обрушилась. Но подвал под развалинами оказался цел, и оборонявшиеся, расчистив обломки, установили пулеметы, легкую пушку, минометы и не подпускали немцев. Дом этот был счастливо расположен – немцы не могли к нему найти скрытых подходов.

Командир роты, докладывавший Березкину, сказал:

– Пробовали ночью пробраться к ним – не вышло дело у нас. Одного убили, а двое, раненные, вернулись.

– Ложись! – жутким голосом закричал в это время красноармеец-наблюдатель, и несколько человек повалились плашмя на землю, а командир роты не договорил, взмахнул руками, как будто собираясь нырнуть, плюхнулся на пол.

Вой пронзительно вырос и вдруг обратился потрясающим землю и душу грохотом вонючих и душных разрывов. Толстый черный чурбак грохнулся на пол, подскочил, подкатился под ноги Березкину, и тот подумал, что полено, подброшенное силой взрыва, едва не ударило его по ноге.

И вдруг он увидел – то был невзорвавшийся снаряд. Напряжение этой секунды было невыносимо.

Но снаряд не взорвался, и его черная тень, поглотившая небо и землю, заслонившая прошлое, обрубившая будущее, исчезла.

Командир роты поднялся на ноги.

– Вот это козюлька, – сказал чей-то расстроенный голос, а другой рассмеялся:

– Ну, я думал – все, накрылся.

Березкин утер пот, вдруг выступивший на лбу, поднял с полубелую астрочку, стряхнул с нее кирпичную пыль и, прикрепив ее к карману лейтенантской гимнастерки, сказал:

– Наверное, подарок... – И стал объяснять Подчуфарову: – Почему у вас все-таки спокойно? Начальство не ходит. Ведь начальство всегда чего-нибудь от тебя хочет: у тебя повар хороший, заберу у тебя повара. У тебя классный парикмахер или там портной – дай его мне. Калымщики! Ты хороший блиндаж себе отрыл – вылезай из него. У тебя хорошая квашеная капуста – пришли ее мне. – Он неожиданно спросил у лейтенанта: – А почему же двое вернулись, не дошли до окруженных?

– Подранило их, товарищ командир полка.

– Понятно.

– Вы счастливый, – сказал Подчуфаров, когда они, выйдя из дома, проходили по огородам, где среди желтой картофельной ботвы были вырыты окопы и землянки второй роты.

– Кто знает, счастливый ли я, – сказал Березкин и прыгнул на дно окопа. – Как в полевых условиях, – проговорил он таким тоном, каким говорят: «Как в курортных условиях».

– Земля лучше всего к войне приспособлена, – подтвердил Подчуфаров. – Привыкла. – Возвращаясь к разговору, начатому командиром полка, он добавил: – Не то что повара, случилось, и бабу начальство отбирало.

Весь окоп шумел возбужденной переключкой, трещал винтовочными выстрелами, короткими очередями автоматов и пулеметов.

– Командир роты убит, политрук Сошкин командует, – сказал Подчуфаров. – Вот его блиндажик.

– Ясно, ясно, – сказал Березкин, заглянув в полуоткрытую дверь блиндажа.

Возле пулеметов их нагнал краснолицый, с черными бровями политрук Сошкин и, непомерно громко выкрикивая отдельные слова, доложил, что рота ведет огонь по немцам с целью помешать их сосредоточению для атаки на дом «шесть дробь один».

Березкин взял у него бинокль, вглядывался в короткие огоньки выстрелов, языкастое пламя из минометных жерл.

– Вон, второе окно на третьем этаже, там, мне кажется, снайпер засел.

И только он успел сказать эти слова, в окне, на которое указывал он, блеснул огонек, и пуля щелбнула, ударила в стенку окопа как раз между головой Березкина и головой Сошкина.

– Счастливый вы, – сказал Подчуфаров.

– Кто знает, счастливый ли я, – ответил Березкин.

Они прошли по окопу к местному ротному изобретению: противотанковое ружье было закреплено сошниками на тележном колесе.

– Своя ротная зенитка, – сказал сержант с пыльной щетиной и беспокойными глазами.

– Танк в ста метрах, у домика с зеленой крышей! – закричал учебным голосом Березкин.

Сержант быстро повернул колесо, и длинное дуло противотанкового ружья склонилось к земле.

– А у Дыркина один боец, – сказал Березкин, – к противотанковому ружью снайперский прицел приспособил и за день три пулемета сшиб.

Сержант пожал плечами:

– Дыркину хорошо, в цехах сидит.

Они пошли дальше по окопу, и Березкин, продолжая разговор, возникший в самом начале обхода, сказал:

– Посылочку я им собрал, очень хорошую. И вот, понимаете, не пишет жена. Нет ответа и нет. Я даже не знаю – дошла ли посылка до них. А может быть, заболели? Долго ли в эвакуации до беды.

Подчуфаров неожиданно вспомнил, как в давнее прошлое время в деревню возвращались плотники, ходившие на работу в Москву, приносили женам, старикам, детям подарки. Вот для них строй и тепло деревенской домашней жизни всегда значили больше, чем московский многолюдный грохот и ночные огни.

Через полчаса они вернулись на командный пункт батальона, но Березкин не стал заходить в подвал, а простился с Подчуфаровым на дворе.

– Оказывайте дому «шесть дробь один» всю возможную поддержку, – сказал он. – Попыток пройти к ним не делай те, это мы сделаем ночью силами полка. – После этого он сказал: – Теперь так... Не нравится мне ваше отношение к раненым. У вас на КП диваны, а раненые на полу. Теперь так. За свежим хлебом не прислали, люди едят сухари. Это два. Теперь так. Ваш политрук Сошкин в дымину пьяный был. Это три. Теперь так...

И Подчуфаров слушал, удивляясь, как это командир полка прошелся по обороне и все заметил... На помкомвзвода немецкие брюки... У командира первой роты две пары часов на руке.

Березкин сказал назидательно:

– Наступать немец будет. Ясно?

Он пошел к заводу, и Глушков, успевший набить каблук и зашить прореху на ватнике, спросил:

– Домой пошли?

Березкин, не ответив ему, сказал Подчуфарову:

– Позвоните комиссару полка, скажите ему, что я пошел к Дыркину, в третий цех, на завод. – И, подмигнув, прибавил: – Капустки мне пришлите, хороша. Как-никак и я начальство.

15

Писем от Толи не было... Утром Людмила Николаевна провожала мать и мужа на работу, Надю в школу. Первой уходила мать, работавшая химиком в лаборатории знаменитого казанского мыловаренного завода. Проходя мимо комнаты зятя, Александра Владимировна обычно

повторяла шутку, услышанную ею от рабочих на заводе: «Хозяевам на работу к шести, а служащим к девяти».

За ней шла в школу Надя, вернее, не шла, а убежала галопом, потому что не было возможности подняться ее вовремя с кровати, – в последнюю минуту она вскакивала, хватала чулки, кофту, книги, тетради, завтракая, давилась чаем, а сбегая по лестнице, наматывала шарф и натягивала пальто.

Когда Виктор Павлович садился завтракать, чайник после ухода Нади уже остывал, и его приходилось наново разогреть.

Александра Владимировна сердилась, когда Надя говорила: «Скорей бы вырваться из этой чертовой дыры». Надя не знала, что Державин жил когда-то в Казани, что жили в ней Аксаков, Толстой, Ленин, Зинин, Лобачевский, что Максим Горький работал когда-то в казанской булочной.

– Какое старческое безразличие, – говорила Александра Владимировна, и странно было слышать этот упрек старухи, обращенный к девочке-подростку.

Людмила видела, что мать продолжала интересоваться людьми, новой работой. Одновременно с восхищением перед душевной силой матери в ней жило совсем другое чувство – как можно было в горе интересоваться гидрогенизацией жиров, казанскими улицами и музеями?

И однажды, когда Штрум сказал жене что-то по поводу душевной молодости Александры Владимировны, Людмила, не сдержавшись, ответила:

– Не молодость это у мамы, а старческий эгоизм.

– Бабушка не эгоистка, она народница, – сказала Надя и добавила: – Народники хорошие люди, но не очень умные.

Мнения свои Надя высказывала категорически и, вероятно, из-за всегдашнего недостатка времени в короткой форме. «Мура», – говорила она с большим количеством «р». Она следила за сводками Совинформбюро, была в курсе военных событий, вмешивалась в разговоры о политике. После летней поездки в колхоз Надя объясняла матери причины плохой производительности колхозного труда.

Своих школьных отметок она матери не показывала и лишь однажды растерянно сообщила:

– Знаешь, мне вlepили четверку за поведение. Представляешь, математичка погнала меня из класса. Я, выходя, рывкнула «гуд бай!», – все так и грохнули.

Как многие дети из обеспеченных семей, до войны не знавшие забот о материальных и кухонных делах, Надя в эвакуационное время много говорила о пайках, достоинствах и недостатках распределителей, знала преимущества постного масла перед коровьим, сильные и слабые стороны продельной крупы, выгоды кускового сахара перед песком.

– Знаешь что? – говорила она матери. – Я решила: давай мне с сегодняшнего дня чай с медом вместо чая со сгущенкой. По-моему, выгодней для меня, а тебе безразлично.

Иногда Надя становилась угрюма, с презрительной усмешкой говорила грубости старшим. Однажды она в присутствии матери сказала отцу:

– Ты дурак. – Сказала с такой злобой, что Штрум рас терялся.

Иногда мать видела, как, читая книгу, Надя плачет. Она себя считала существом отсталым, неудачливым, обреченным прожить тусклую, тяжелую жизнь.

– Дружить со мной никто не хочет, я глупа, никому не интересна, – сказала она однажды за столом. – Замуж меня никто не возьмет, я кончу аптекарские курсы и уеду в деревню.

– В глухих деревнях аптек нет, – сказала Александра Владимировна.

– Касаемо замужества твой прогноз чрезмерно мрачен, – сказал Штрум. – Ты похорошела за последнее время.

– Плевать, – сказала Надя и злобно посмотрела на отца.

А ночью мать видела, как Надя, держа книжку в высунутой из-под одеяла голый, тонкой руке, читала стихи.

Однажды, принеся из академического распределителя сумку с двумя килограммами сливочного масла и большим пакетом риса, Надя сказала:

– Люди, и я в том числе, сволочи и подлецы, пользуются всем этим. И папа подло обменивает талант на сливочное масло. Как будто больным, малообразованным людям и слабеньким детям жить надо впроголодь оттого, что они не знают физики или не могут выполнить триста процентов плана... Лопать масло могут избранные.

А за ужином она вызывающе сказала:

– Мама, дай-ка мне двойной мед и масло, я ведь утром проспала.

Надя во многом походила на отца. Людмила Николаевна замечала, что Виктора Павловича особенно раздражают в дочери именно те черты, которыми она походила на него.

Однажды Надя, точно повторяя отцовскую интонацию, сказала о Постоеве:

– Жук, бездарность, ловчила!

Штрум возмущился:

– Как ты, недоучившаяся школьница, смеешь так говорить об академике?

Но Людмила помнила, что Виктор, будучи студентом, о многих академических знаменитостях говорил: «Ничтожество, бездарность, трепанг, карьерист!»

Людмила Николаевна понимала, что Наде живется нелегко, очень запутанный, одинокий и тяжелый у нее характер.

После ухода Нади пил чай Виктор Павлович. Скопив глаза, он смотрел в книгу, глотал, не прожевывая, делал глупое удивленное лицо, нащупывал пальцами стакан, не отрывая глаз от книги, говорил: «Налей мне, если можно, погорячей». Она знала все его жесты: то он начинал чесать голову, то выпячивал губу, то, сделав кривую рожу, ковырял в зубах, и она говорила:

– Господи, Витя, когда уж ты будешь зубы лечить?

Она знала, что он чесался и выпячивал губу, думая о своей работе, а вовсе не потому, что у него чесалась голова или свербило в носу. Знала, что, если она скажет: «Витя, ты даже не слышишь, что я тебе говорю», он, продолжая косить глаза в сторону книги, скажет: «Я все слышу, могу повторить: „Когда уж ты, Витя, будешь зубы лечить“», – и опять удивится, глотнет, шизофренически накуксится, и все это будет означать, что он, просматривая работу знакомого физика, кое в чем согласен с ним, а кое в чем не согласен. Потом Виктор Павлович долго будет сидеть неподвижно, потом начнет кивать головой, как-то покорно, по-старчески тоскливо, – такое выражение лица и глаз, вероятно, бывает у людей, страдающих опухолью мозга. И опять Людмила Николаевна будет знать: Штрум думает о матери.

И когда он пил чай, думал о своей работе, кряхтел, охваченный тоской, Людмила Николаевна смотрела на глаза, которые она целовала. На курчавые волосы, которые она перебирала, на губы, целовавшие ее, на ресницы, брови, на руки с маленькими, несильными пальцами, на которых она обрезала ногти, говоря: «Ох, неряха ты мой».

Она знала о нем все – его чтение детских книг в постели перед сном, его лицо, когда он шел чистить зубы, его звонкий, чуть дрожащий голос, когда он в парадном костюме начал свой доклад о нейтронном излучении. Она знала, что он любит украинский борщ с фасолью, знала, как он тихонько стонет во сне, переворачиваясь с боку на бок. Она знала, как он быстро снашивает каблук левого ботинка и грязнит рукава сорочек; знала, что он любит спать на двух подушках; знала его тайный страх при переходе городских площадей, знала запах его кожи, форму дырок на его носках. Она знала, как он напевает, когда голоден и ждет обеда, какой формы ногти на больших пальцах его ног, знала уменьшительное имя, которым называла его в двухлетнем возрасте мать; знала его шаркающую походку; знала имена мальчишек, дравшихся с ним, когда он учился в старшем приготовительном классе. Она знала его насмешливость, привычку дразнить Толю, Надю, товарищей. Даже теперь, когда был он почти всегда в тяжелом

настроении, Штрум дразнил ее тем, что близкий ей человек, Марья Ивановна Соколова, мало читала и однажды в разговоре спутала Бальзака с Флобером.

Дразнить Людмилу он умел мастерски, она всегда раздражалась. И теперь она сердито, всерьез возражала ему, защищая свою подругу:

– Ты всегда насмехаешься над теми, кто мне близок. У Машеньки безошибочный вкус, ей и не надо много читать, она всегда чувствует книгу.

– Конечно, конечно, – говорил он. – Она уверена, что «Макс и Мориц» написал Анатоль Франс.

Она знала его любовь к музыке, его политические взгляды. Она видела его однажды плачущим, видела, как он в бешенстве порвал на себе рубаху и, запутавшись в кальсонах, на одной ноге поскакал к ней, подняв кулак, готовый ударить. Она видела его жесткую, смелую прямооту, его вдохновение; видела его декламирующим стихи; видела его пьющим слабительное.

Она чувствовала, что муж сейчас обижен на нее, хотя в отношениях их, казалось, ничего не изменилось. Но изменение было, и выражалось оно в одном – он перестал говорить с ней о своей работе. Он говорил с ней о письмах от знакомых ученых, о продовольственных и промтоварных лимитах. Он говорил иногда и о делах в институте, в лаборатории, про обсуждение плана работ, рассказывал о сотрудниках: Савостьянов пришел на работу после ночной выпивки и уснул, лаборантки варили картошку под тягой, Марков готовит новую серию опытов.

Но о своей работе, о той внутренней, о которой он говорил во всем мире с одной лишь Людмилой, он перестал говорить.

Он как-то жаловался Людмиле Николаевне, что, читая даже близким друзьям записи своих не доведенных до конца размышлений, он испытывал на следующий день неприятное чувство – работа ему кажется поблекшей, ему тяжело касаться ее.

Единственный человек, которому он выворачивал свои сомнения, читал отрывочные записи, фантастические и самонадеянные предположения, не испытывая после никакого осадка, была Людмила Николаевна.

Теперь он перестал говорить с ней.

Теперь, тоскуя, он находил облегчение в том, что обвинял Людмилу. Он постоянно и неотступно думал о матери. Он думал о том, о чем никогда не думал и о чем его заставил думать фашизм, – о своем еврействе, о том, что мать его еврейка.

Он в душе упрекал Людмилу за то, что она холодно относилась к его матери. Однажды он сказал ей:

– Если б ты сумела наладить с мамой отношения, она бы жила с нами в Москве.

А она перебирала в уме все грубое и несправедливое, что совершил Виктор Павлович по отношению к Толе, и, конечно, ей было что вспомнить.

Сердце ее ожесточалось, так несправедлив он был к пасынку, столько видел он в Толе плохого, так трудно прощал ему недостатки. А Наде отец прощал и грубость, и лень, и неряшливость, и нежелание помочь матери в домашних делах.

Она думала о матери Виктора Павловича – судьба ее ужасна. Но как мог Виктор требовать от Людмилы дружбы к Анне Семеновне – ведь Анна Семеновна нехорошо относилась к Толе. Каждое ее письмо, каждый ее приезд в Москву были из-за этого невыносимы Людмиле. Надя, Надя, Надя... У Нади глаза Виктора... Надя держит вилку, как Виктор... Надя рассеянна, Надя остроумна, Надя задумчива. Нежность, любовь Анны Семеновны к сыну соединялась с любовью и нежностью к внучке. А ведь Толя не держал вилку так, как держал ее Виктор Павлович.

И странно – в последнее время она чаще, чем прежде, вспоминала Толиного отца, своего первого мужа. Ей хотелось разыскать его родных, его старшую сестру, и они радовались бы глазам Толи, сестра Абарчука узнавала бы в Толиных глазах, искривленном большом пальце, широком носе – глаза, руки, нос своего брата.

И так же, как она не хотела вспомнить Виктору Павловичу все хорошее в его отношении к Толе, она прощала Абарчуку все плохое, даже то, что он бросил ее с грудным ребенком, запретил дать Толе фамилию Абарчук.

Утром Людмила Николаевна оставалась дома одна. Она ждала этого часа, близкие мешали ей. Все события в мире, война, судьба сестер, работа мужа, Надин характер, здоровье матери, ее жалость к раненым, боль о погибших в немецком плену, – все рождалось ее болью о сыне, ее тревогой о нем.

Она чувствовала, что совсем из иной руды выплавляются чувства матери, мужа, дочери. Их привязанность и любовь к Толе казались ей неглубокими. Для нее мир был в Толе, для них Толя был лишь частью мира.

Шли дни, шли недели, письма от Толи не было.

Каждый день радио передавало сводки Совинформбюро, каждый день газеты были полны войной. Советские войска отступали. В сводках и газетах писалось об артиллерии. Толя служил в артиллерии. Письма от Толи не было.

Ей казалось: один человек по-настоящему понимал ее тоску – Марья Ивановна, жена Соколова.

Людмила Николаевна не любила дружить с профессорскими женами, ее раздражали разговоры о научных успехах мужей, платьях, домашних работницах. Но, вероятно, потому, что мягкий характер застенчивой Марьи Ивановны был противоположен ее характеру, и потому, что ее трогало отношение Марьи Ивановны к Толе, она очень привязалась к Марье Ивановне.

С ней Людмила говорила о Толе свободней, чем с мужем и матерью, и каждый раз ей становилось спокойней, легче на душе. И хотя Марья Ивановна почти каждый день заходила к Штрумам, Людмила Николаевна удивлялась, чего ж это так давно не приходит ее подруга, поглядывала в окно, не видно ли худенькой фигуры Марьи Ивановны, ее милого лица.

А писем от Толи не было.

16

Александра Владимировна, Людмила и Надя сидели на кухне. Время от времени Надя подкладывала в печь смятые листы ученической тетрадки, и угасавший красный свет освещался, печь заполнялась ворохом недолговечного пламени. Александра Владимировна, искоса поглядывая на дочь, сказала:

– Я вчера заходила к одной лаборантке на дом, господи, какая теснота, нищета, голодуха, мы тут как цари; собрались соседки, зашел разговор, кто что больше любил до войны: одна говорит – телятину, вторая – рассольник. А девочка этой лаборантки говорит: «А я больше всего любила отбой».

Людмила Николаевна молчала, а Надя проговорила:

– Бабушка, у вас здесь уже образовалось больше миллиона знакомых.

– А у тебя никого.

– Ну и очень хорошо, – сказала Людмила Николаевна. – Витя стал часто ходить к Соколову. Там собирается всякий сброд, и я не понимаю, как Витя и Соколов могут целыми часами болтать с этими людьми... Как им не надоедает – толочь языками табачок. И как не жалеют Марью Ивановну, ей нужен покой, а при них ни прилечь, ни посидеть, да еще дымят всюю.

– Каримов, татарин, мне нравится, – сказала Александра Владимировна.

– Противный тип.

– Мама в меня, ей никто не нравится, – сказала Надя, – вот только Марья Ивановна.

– Удивительный вы народ, – сказала Александра Владимировна, – у вас есть какая-то своя московская среда, которую вы с собой привезли. В поездках, в клубе, в театре – все это не ваш круг, а ваши – это те, что с вами в одном месте дачи построили, это и у Жени я наблюдала...

Есть ничтожные признаки, по которым вы определяете людей своего круга: «Ах, она ничтожество, не любит Блока, а он примитив, не понимает Пикассо... Ах, она ему подарила хрустальную вазу. Это безвкусно...» Вот Виктор демократ, ему плевать на все это декадентство.

– Чепуха, – сказала Людмила. – При чем тут дачи! Есть мещане с дачами и без дач, и не надо с ними встречаться, противно.

Александра Владимировна замечала, что дочь все чаще раздражается против нее.

Людмила Николаевна давала мужу советы, делала замечания Наде, выговаривала ей за проступки и прощала ей проступки, баловала ее и отказывала в баловстве и ощущала, что у матери свое отношение к ее действиям. Александра Владимировна не высказывала этого своего отношения, но оно существовало. Случалось, что Штрум переглядывался с тещей и в глазах его появлялось выражение насмешливого понимания, словно он предварительно обсуждал странности Людмилиного характера с Александрой Владимировной. И тут не имело значения, обсуждали они или не обсуждали, а дело было в том, что появилась в семье новая сила, изменившая одним своим присутствием привычные отношения.

Виктор Павлович однажды сказал Людмиле, что на ее месте уступил бы матери главенство, пусть чувствует себя хозяйкой, а не гостьей.

Людмиле Николаевне слова мужа показались неискренними, ей даже подумалось, что он хочет подчеркнуть свое особенное, сердечное отношение к ее матери и этим невольно напоминает о холодном отношении Людмилы к Анне Семеновне.

Смешно и стыдно было бы признаться ему в этом, она иногда к детям ревновала его, особенно к Наде. Но сейчас это не была ревность. Как признаться даже самой себе в том, что мать, потерявшая кров, нашедшая приют в ее доме, раздражает ее и тяготит. Да и странным было это раздражение, оно ведь существовало рядом с любовью, рядом с готовностью отдать Александре Владимировне, если понадобится, свое последнее платье, поделиться последним куском хлеба.

А Александра Владимировна вдруг чувствовала, что ей хочется то беспричинно заплакать, то умереть, то не прийти вечером домой и остаться ночевать на полу у сослуживицы, то вдруг собраться и уехать в сторону Сталинграда, разыскать Сережу, Веру, Степана Федоровича.

Александра Владимировна большей частью одобряла поступки и высказывания зятя, а Людмила почти всегда не одобряла его. Надя заметила это и говорила отцу:

– Пойди пожалуйся бабушке, что мама тебя обижает.

Вот и теперь Александра Владимировна сказала:

– Вы живете как совы. А Виктор нормальный человек.

– Все это слова, – сказала, морщась, Людмила. – А придет день отъезда в Москву, и вы с Виктором будете счастливы.

Александра Владимировна вдруг сказала:

– Знаешь что, милая моя, когда придет день возвращения в Москву, я не поеду с вами, а останусь здесь, мне в Москве в твоём доме места нет. Понятно тебе? Уговорю Женю сюда перебраться либо к ней соберусь в Куйбышев.

То был трудный миг в отношениях матери и дочери. Все, что лежало тяжелого на душе у Александры Владимировны, было высказано в ее отказе ехать в Москву. Все, что собралось тяжелого на душе у Людмилы Николаевны, стало от этого явным, как будто бы произнесенным. Но Людмила Николаевна обиделась, словно она ни в чем не была виновата перед матерью.

А Александра Владимировна глядела на страдающее лицо Людмилы и чувствовала себя виноватой. По ночам Александра Владимировна чаще всего думала о Сереже – то вспоминала его вспышки, споры, то представляла себе его в военной форме, его глаза, вероятно, стали еще больше, он ведь похудел, щеки ввалились. Особое чувство вызывал в ней Сережа – сын

ее несчастного сына, которого она любила, казалось, больше всех на свете... Она говорила Людмиле:

– Не мучься ты так о Толе, поверь, что я беспокоюсь о нем не меньше тебя.

Что-то было фальшивое, оскорблявшее ее любовь к дочери в этих словах – не так уж она беспокоилась о Толе. Вот и сейчас обе, прямые до жестокости, испугались своей прямооты и отказывались от нее.

– Правда хорошо, а любовь лучше, новая пьеса Островского, – протяжно произнесла Надя, и Александра Владимировна неприязненно, даже с каким-то испугом посмотрела на девочку-десятиклассницу, сумевшую разобраться в том, в чем она сама еще не разобралась.

Вскоре пришел Виктор Павлович. Он открыл дверь своим ключом и внезапно появился на кухне.

– Приятная неожиданность, – сказала Надя. – Мы считали, что ты застрянешь допоздна у Соколовых.

– А-а, все уже дома, все у печки, очень рад, чудесно, чудесно, – произнес он, протянул руки к печному огню.

– Вытри нос, – сказала Людмила. – Что же чудесного, я не пойму?

Надя прыснула и сказала, подражая материнской интонации:

– Ну, вытри нос, тебе ведь русским языком говорят.

– Надя, Надя, – предостерегающе сказала Людмила Николаевна: она ни с кем не делила свое право воспитывать мужа.

Виктор Павлович произнес:

– Да-да, очень холодный ветер.

Он пошел в комнату, и через открытую дверь было видно, как он сел за стол.

– Папа опять пишет на переплете книги, – проговорила Надя.

– Не твое дело, – сказала Людмила Николаевна и стала объяснять матери: – Почему он так обрадовался – все дома? У него псих, беспокоится, если кого-нибудь нет дома. А сейчас он чего-то там недодумал и обрадовался, не надо будет отвлекаться беспокойствами.

– Тише, ведь действительно ему мешаем, – сказала Александра Владимировна.

– Наоборот, – сказала Надя, – говоришь громко, он не обращает внимания, а если говорить шепотом, он явится и спросит: «Что это вы там шепчетесь?»

– Надя, ты говоришь об отце, как экскурсовод, который рассказывает об инстинктах животных.

Они одновременно рассмеялись, переглянулись.

– Мама, как вы могли так обидеть меня? – сказала Людмила Николаевна.

Мать молча погладила ее по голове.

Потом они ужинали на кухне. Виктору Павловичу казалось – какой-то особой прелестью обладало в этот вечер кухонное тепло.

То, что составляло основу его жизни, продолжалось. Мысль о неожиданном объяснении противоречивых опытов, накопленных лабораторией, неотступно занимала его последнее время.

Сидя за кухонным столом, он испытывал странное счастливое нетерпение – пальцы рук сводило от сдерживаемого желания взяться за карандаш.

– Изумительная сегодня гречневая каша, – сказал он, стуча ложкой в пустой тарелке.

– Это намек? – спросила Людмила Николаевна.

Пододвигая жене тарелку, он спросил:

– Люда, ты помнишь, конечно, гипотезу Прюта?

Людмила Николаевна, недоумевая, подняла ложку.

– Это о происхождении элементов, – сказала Александра Владимировна.

– Ах, ну помню, – проговорила Людмила, – все элементы из водорода. Но при чем тут каша?

– Каша? – переспросил Виктор Павлович. – А вот с Проутом произошла такая история: он высказал правильную гипотезу в большой мере потому, что в его время существовали грубые ошибки в определении атомных весов. Если бы при нем определили атомные веса с точностью, какой достигли Дюма и Стас, он бы не решился предположить, что атомные веса элементов кратны водороду. Оказался прав потому, что ошибался.

– А при чем тут все же каша? – спросила Надя.

– Каша? – переспросил удивленно Штрум и, вспомнив, сказал: – Каша ни при чем... В этой каше трудно разобраться, понадобилось сто лет, чтобы разобраться.

– Это тема вашей лекции сегодняшней? – спросила Александра Владимировна.

– Нет, пустое, я ведь и лекций не читаю, ни к селу ни к городу.

Он поймал взгляд жены и почувствовал – она понимала: интерес к работе вновь будоражил его.

– Как жизнь? – спросил Штрум. – Приходила к тебе Марья Ивановна? Читала тебе небось «Мадам Бовари», сочинение Бальзака?

– А ну тебя, – сказала Людмила Николаевна.

Ночью Людмила Николаевна ждала, что муж заговорит с ней о своей работе. Но он молчал, и она ни о чем не спросила его.

17

Какими наивными представились Штруму идеи физиков в середине девятнадцатого века, взгляды Гельмгольца, сводившего задачи физической науки к изучению сил притяжения и отталкивания, зависящих от одного лишь расстояния.

Силовое поле – душа материи! Единство, объединяющее волну энергии и материальную корпускулу... зернистость света... ливень ли он светлых капель или молниеносная волна?

Квантовая теория поставила на место законов, управляющих физическими индивидуальностями, новые законы – законы вероятностей; законы особой статистики, отбросившей понятие индивидуальности, признающей лишь совокупности. Физики прошлого века напоминали Штруму людей с нафабранными усами, в костюмах со стоячими крахмальными воротниками и с твердыми манжетами, столпившихся вокруг бильярдного стола. Глубокомысленные мужи, вооруженные линейками и часами-хронометрами, хмуря густые брови, измеряют скорости и ускорения, определяют массы упругих шаров, заполняющих мировое зеленое суконное пространство.

Но пространство, измеренное металлическими стержнями и линейками, время, отмеренное совершеннейшими часами, вдруг стали искривляться, растягиваться и сплющиваться. Их незыблемость оказалась не фундаментом науки, а решетками и стенами ее тюрьмы. Пришла пора Страшного суда, тысячелетние истины были объявлены заблуждениями. В старинных предрассудках, ошибках, неточностях, словно в коконах, столетиями спала истина.

Мир стал неевклидовым, его геометрическая природа формировалась массами и их скоростями.

С нарастающей стремительностью шло научное движение в мире, освобожденном Эйнштейном от оков абсолютного времени и пространства.

Два потока – один, стремящийся вместе со Вселенными, второй, стремящийся проникнуть в атомное ядро, – разбегаясь, не терялись один для другого, хотя один бежал в мире парсеков, другой мерился миллимикронами. Чем глубже уходили физики в недра атома, тем ясней становились для них законы, определяющие свечение звезд. Красное смещение по лучу зрения в спектрах далеких галактик породило представление о разбегающихся в бесконечном

пространстве Вселенных. Но стоило предпочесть конечное чечевицеобразное, искривленное скоростями и массами пространство, и можно было представить себе, что расширением охвачено само пространство, увлекающее за собой галактики.

Штрум не сомневался, нет в мире человека счастливей ученого... Иногда – утром, по дороге в институт, и во время вечерней прогулки, и вот сегодня ночью, когда он думал о своей работе, – его охватывало чувство счастья, смирения и восторга.

Силы, наполняющие Вселенную тихим светом звезд, высвобождались при превращении водорода в гелий...

За два года до войны два молодых немца расщепили нейтронами тяжелые атомные ядра, и советские физики в своих исследованиях, придя другими путями к сходным результатам, вдруг ощутили то, что сто тысяч лет назад испытал пещерный человек, зажигая свой первый костер...

Конечно, в двадцатом веке главное направление определяет физика... Вот так же, как в 1942 году направлением главного удара для всех фронтов мировой войны стал Сталинград.

Но следом, вплотную, по пятам, шли за Штрумом сомнения, страдание, неверие.

18

«Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто. Твой ответ я никогда не получу, меня не будет. Я хочу, чтобы ты знал о моих последних днях, с этой мыслью мне легче уйти из жизни.

Людей, Витя, трудно понять по-настоящему... Седьмого июля немцы ворвались в город. В городском саду радио передавало последние известия, я шла из поликлиники после приема больных и остановилась послушать, дикторша читала по-украински статью о боях. Я услышала отдаленную стрельбу, потом через сад побежали люди, я пошла к дому и все удивлялась, как это пропустила сигнал воздушной тревоги. И вдруг я увидела танк, и кто-то крикнул: „Немцы прорвались!“ Я сказала: „Не сейте панику!“, накануне я заходила к секретарю горсовета, спросила его об отъезде, он рассердился: „Об этом рано говорить, мы даже списков не составляли“. Словом, это были немцы. Всю ночь соседи ходили друг к другу, спокойней всех были малые дети да я. Решила – что будет со всеми, то будет и со мной. Вначале я ужаснулась, поняла, что никогда тебя не увижу, и мне страстно захотелось еще раз посмотреть на тебя, поцеловать твой лоб, глаза, а я потом подумала – ведь счастье, что ты в безопасности.

Под утро я заснула и, когда проснулась, почувствовала страшную тоску. Я была в своей комнате, в своей постели, но ощутила себя на чужбине, затерянная, одна.

Этим же утром мне напомнили забытое за годы советской власти, что я еврейка. Немцы ехали на грузовике и кричали: „Juden kaputt!“ А затем мне напомнили об этом некоторые мои соседи. Жена дворника стояла под моим окном и говорила соседке: „Слава богу, жидам конец“. Откуда это? Сын ее женат на еврейке, и старуха ездила к сыну в гости, рассказывала мне о внуках.

Соседка моя, вдова, у нее девочка шести лет, Аленушка, синие, чудные глаза, я тебе писала о ней когда-то, зашла ко мне и сказала: „Анна Семеновна, попрошу вас к вечеру убрать вещи, я переберусь в вашу комнату“. – „Хорошо, я тогда перееду в вашу“. – „Нет, вы переберетесь в каморку за кухней“.

Я отказалась, там ни окна, ни печки.

Я пошла в поликлинику, а когда вернулась, оказалось: дверь в мою комнату взломали, мои вещи свалили в каморке. Соседка мне сказала: „Я оставила у себя диван, он все равно не влезет в вашу новую комнатку“.

Удивительно, она кончила техникум, и покойный муж ее был славный и тихий человек, бухгалтер в Укопспилке. „Вы вне закона“, – сказала она таким тоном, словно ей это очень

выгодно. А ее дочь Аленушка сидела у меня весь вечер, и я ей рассказывала сказки. Это было мое новоселье, и она не хотела идти спать, мать ее унесла на руках. А затем, Витенька, поликлинику нашу вновь открыли, а меня и еще одного врача-еврея уволили. Я попросила деньги за проработанный месяц, но новый заведующий мне сказал: „Пусть вам Сталин платит за то, что вы заработали при советской власти, напишите ему в Москву“. Санитарка Маруся обняла меня и тихонько запричитала: „Господи боже мой, что с вами будет, что с вами всеми будет“. И доктор Ткачев пожал мне руку. Я не знаю, что тяжелей: злорадство или жалостливые взгляды, которыми глядят на подыхающую, шелудивую кошку. Не думала я, что придется мне все это пережить.

Многие люди поразили меня. И не только темные, озлобленные, безграмотные. Вот старик-педагог, пенсионер, ему 75 лет, он всегда спрашивал о тебе, просил передать привет, говорил о тебе: „Он наша гордость“. А в эти дни проклятые, встретив меня, не поздоровался, отвернулся. А потом мне рассказывали – он на собрании в комендатуре говорил: „Воздух очистился, не пахнет чесноком“. Зачем ему это – ведь эти слова его пачкают. И на том же собрании сколько клеветы на евреев было... Но, Витенька, конечно, не все пошли на это собрание. Многие отказались. И, знаешь, в моем сознании с царских времен антисемитизм связан с квасным патриотизмом людей из „Союза Михаила Архангела“. А здесь я увидела – те, что кричат об избавлении России от евреев, унижаются перед немцами, по-лакейски жалки, готовы продать Россию за тридцать немецких серебреников. А темные люди из пригорода ходят грабить, захватывают квартиры, одеяла, платья; такие, вероятно, убивали врачей во время холерных бунтов. А есть душевно вялые люди, они поддакивают всему дурному, лишь бы их не заподозрили в несогласии с властями.

Ко мне беспрерывно прибегают знакомые с новостями, глаза у всех безумные, люди как в бреду. Появилось странное выражение: „перепрятывать вещи“. Кажется, что у соседа надежней. Перепрятывание вещей напоминает мне игру.

Вскоре объявили о переселении евреев, разрешили взять с собой 15 килограммов вещей. На стенах домов висели желтенькие объявляющие: „Всем жидам предлагается переселиться в район Старого города не позднее шести часов вечера 15 июля 1941 года“. Не переселившимся – расстрел.

Ну вот, Витенька, собралась и я. Взяла я с собой подушку, немного белья, чашечку, которую ты мне когда-то подарил, ложку, нож, две тарелки. Много ли человеку нужно? Взяла несколько инструментов медицинских. Взяла твои письма, фотографии покойной мамы и дяди Давида, и ту, где ты с папой снят, томик Пушкина, „Lettres de mon moulin“, томик Мопассана, где „Une vie“, словарики, взяла Чехова, где „Скучная история“ и „Архиерей“, – вот и, оказалось, заполнила всю свою корзинку. Сколько я под этой крышей тебе писем написала, сколько часов ночью проплакала, теперь уж скажу тебе о своем одиночестве.

Простилась с домом, с садиком, посидела несколько минут под деревом, простилась с соседями. Странно устроены некоторые люди. Две соседки при мне стали спорить о том, кто возьмет себе стулья, кто письменный столик, а стала с ними прощаться, обе заплакали. Попросила соседей Басанько, если после войны ты приедешь узнать обо мне, пусть расскажут поподробней – и мне обещали. Тронула меня собачонка, дворняжка Тобик, – последний вечер как-то особенно ласкалась ко мне.

Если приедешь, ты ее покорми за хорошее отношение к старой жидовке.

Когда я собралась в путь и думала, как мне дотащить корзину до Старого города, неожиданно пришел мой пациент Щукин, угрюмый и, как мне казалось, черствый человек. Он взялся понести мои вещи, дал мне триста рублей и сказал, что будет раз в неделю приносить мне хлеб к ограде. Он работает в типографии, на фронт его не взяли по болезни глаз. До войны он лечился у меня, и если бы мне предложили перечислить людей с отзывчивой, чистой душой, я назвала

бы десятки имен, но не его. Знаешь, Витенька, после его прихода я снова почувствовала себя человеком, значит, ко мне не только дворовая собака может относиться по-человечески.

Он рассказал мне – в городской типографии печатается приказ: евреям запрещено ходить по тротуарам, они должны носить на груди желтую лату в виде шестиконечной звезды, они не имеют права пользоваться транспортом, банями, посещать амбулатории, ходить в кино, запрещается покупать масло, яйца, молоко, ягоды, белый хлеб, мясо, все овощи, исключая картошку; покупки на базаре разрешается делать только после шести часов вечера (когда крестьяне уезжают с базара). Старый город будет обнесен колючей проволокой, и выход за проволоку запрещен, можно только под конвоем на принудительные работы. При обнаружении еврея в русском доме хозяину – расстрел, как за укрытие партизана.

Тесть Щукина, старик-крестьянин, приехал из соседнего местечка Чуднова и видел своими глазами, что всех местных евреев с узлами и чемоданами погнали в лес, и оттуда в течение всего дня доносились выстрелы и дикие крики, ни один человек не вернулся. А немцы, стоявшие на квартире у тестя, пришли поздно вечером – пьяные, и еще пили до утра, пели и при старике делили между собой брошки, кольца, браслеты. Не знаю, случайный ли это произвол или предвестие ждущей и нас судьбы?

Как печален был мой путь, сыночек, в средневековое гетто. Я шла по городу, в котором проработала 20 лет. Сперва мы шли по пустынной Свечной улице. Но когда мы вышли на Никольскую, я увидела сотни людей, шедших в это проклятое гетто. Улица стала белой от узлов, от подушек. Больных вели под руки. Парализованного отца доктора Маргулиса несли на одеяле. Один молодой человек нес на руках старуху, а за ним шли жена и дети, нагруженные узлами. Заведующий магазином бакалеи Гордон, толстый, с одышкой, шел в пальто с меховым воротником, а по лицу его тек пот. Поразил меня один молодой человек, пришел без вещей, подняв голову, держа перед собой раскрытую книгу, с надменным и спокойным лицом. Но сколько рядом было безумных, полных ужаса.

Шли мы по мостовой, а на тротуарах стояли люди и смотрели.

Одно время я шла с Маргулисами и слышала сочувственные вздохи женщин. А над Гордоном в зимнем пальто смеялись, хотя, поверь, он был ужасен, не смешон. Видела много знакомых лиц. Одни слегка кивали мне, прощаясь, другие отворачивались. Мне кажется, в этой толпе равнодушных глаз не было; были любопытные, были безжалостные, но несколько раз я видела заплаканные глаза.

Я посмотрела – две толпы, евреи в пальто, шапках, женщины в теплых платках, а вторая толпа на тротуаре одета по-летнему. Светлые кофточки, мужчины без пиджаков, некоторые в вышитых украинских рубашках. Мне показалось, что для евреев, идущих по улице, уже и солнце отказалось светить, они идут среди декабрьской ночной стужи.

У входа в гетто я простилась с моим спутником, он мне показал место у проволочного заграждения, где мы будем встречаться.

Знаешь, Витенька, что я испытала, попав за проволоку? Я думала, что почувствую ужас. Но, представь, в этом загоне для скота мне стало легче на душе. Не думай, не потому, что у меня рабская душа. Нет. Нет. Вокруг меня были люди одной судьбы, и в гетто я не должна, как лошадь, ходить по мостовой, и нет взоров злобы, и знакомые люди смотрят мне в глаза и не избегают со мной встречи. В этом загоне все носят печать, поставленную на нас фашистами, и поэтому здесь не так жжет мою душу эта печать. Здесь я себя почувствовала не бесправным скотом, а несчастным человеком. От этого мне стало легче.

Я поселилась вместе со своим коллегой, доктором-терапевтом Шперлингом, в мазаном домике из двух комнатушек. У Шперлингов две взрослые дочери и сын, мальчик лет двенадцати. Я подолгу смотрю на его худенькое личико и печальные большие глаза; его зовут Юра, а я раза два называла его Витей, и он меня поправлял: „Я Юра, а не Витя“.

Как различны характеры людей! Шперлинг в свои пятьдесят восемь лет полон энергии. Он раздобыл матрацы, керосин, подводу дров. Ночью внесли в домик мешок муки и полмешка фасоли. Он радуется всякому своему успеху, как молодожен. Вчера он развешивал коврики. „Ничего, ничего, все переживем, – повторяет он. – Главное, запастись продуктами и дровами“.

Он сказал мне, что в гетто следует устроить школу. Он даже предложил мне давать Юре уроки французского языка и платить за урок тарелкой супа. Я согласилась.

Жена Шперлинга, толстая Фанни Борисовна, вздыхает: „Все погибло, мы погибли“, – но при этом следит, чтобы ее старшая дочь Люба, доброе и милое существо, не дала кому-нибудь горсть фасоли или ломтик хлеба. А младшая, любимица матери, Аля – истинное исчадие ада: властная, подозрительная, скупая; она кричит на отца, на сестру. Перед войной она приехала погостить из Москвы и застряла.

Боже мой, какая нужда вокруг! Если бы те, кто говорит о богатстве евреев и о том, что у них всегда накоплено на черный день, посмотрели на наш Старый город. Вот он и пришел, черный день, чернее не бывает. Ведь в Старом городе не только переселенные с 15 килограммами багажа, здесь всегда жили ремесленники, старики, рабочие, санитарки. В какой ужасной тесноте жили они и живут. Как едят! Посмотрел бы ты на эти полуразваленные, вросшие в землю хибарки.

Витенька, здесь я вижу много плохих людей – жадных, трусливых, хитрых, даже готовых на предательство, есть тут один страшный человек, Эпштейн, попавший к нам из какого-то польского городка, – он носит повязку на рукаве и ходит с немцами на обыски, участвует в допросах, пьянствует с украинскими полициями, и они посылают его по домам вымогать водку, деньги, продукты. Я раза два видела его – рослый, красивый, в франтовском кремовом костюме, и даже желтая звезда, пришитая к его пиджаку, выглядит как желтая хризантема.

Но я хочу тебе сказать и о другом. Я никогда не чувствовала себя еврейкой, с детских лет я росла в среде русских подруг, я любила больше всех поэтов Пушкина, Некрасова, и пьеса, на которой я плакала вместе со всем зрительным залом, съездом русских земских врачей, была „Дядя Ваня“ со Станиславским. А когда-то, Витенька, когда я была четырнадцатилетней девочкой, наша семья собралась эмигрировать в Южную Америку. И я сказала папе: „Не поеду никуда из России, лучше утоплюсь“. И не уехала.

А вот в эти ужасные дни мое сердце наполнилось материнской нежностью к еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви. Она напоминает мне мою любовь к тебе, дорогой сынок.

Я хожу к больным на дом. В крошечные комнатки втиснуты десятки людей: полуслепые старики, грудные дети, беременные. Я привыкла в человеческих глазах искать симптомы болезней – глаукомы, катаракты. Я теперь не могу так смотреть в глаза людям – в глазах я вижу лишь отражение души. Хорошей души, Витенька! Печальной и доброй, усмехающейся и обреченной, побежденной насилием и в то же время торжествующей над насилием. Сильной, Витя, души!

Если бы ты видел, с каким вниманием старики и старухи расспрашивают меня о тебе. Как сердечно утешают меня люди, которым я ни на что не жалуясь, люди, чье положение ужасней моего.

Мне иногда кажется, что не я хожу к больным, а, наоборот, народный добрый врач лечит мою душу. А как трогательно вручают мне за лечение кусок хлеба, луковку, горсть фасоли.

Поверь, Витенька, это не плата за визиты! Когда пожилой рабочий пожимает мне руку и вкладывает в сумочку две-три картофелины и говорит: „Ну, ну, доктор, я вас прошу“, у меня слезы выступают на глазах. Что-то в этом такое есть чистое, отеческое, доброе, не могу словами передать тебе это.

Я не хочу утешать тебя тем, что легко жила это время, ты удивляйся, как мое сердце не разорвалось от боли. Но не мучься мыслью, что я голодала, я за все это время ни разу не была голодна. И еще – я не чувствовала себя одинокой.

Что сказать тебе о людях, Витя? Люди поражают меня хорошим и плохим. Они необычайно разные, хотя все переживают одну судьбу. Но, представь себе, если во время грозы большинство старается спрятаться от ливня, это еще не значит, что все люди одинаковы. Да и прячется от дождя каждый по-своему...

Доктор Шперлинг уверен, что преследования евреев временные, пока война. Таких, как он, немало, и я вижу, чем больше в людях оптимизма, тем они мелочней, тем эгоистичней. Если во время обеда приходит кто-нибудь, Аля и Фанни Борисовна немедленно прячут еду.

Ко мне Шперлинги относятся хорошо, тем более что я ем мало и приношу продуктов больше, чем потребляю. Но я решила уйти от них, они мне неприятны. Подыскиваю себе уголок. Чем больше печали в человеке, чем меньше он надеется выжить, тем он шире, добрее, лучше.

Беднота, жестянщики, портняги, обреченные на гибель, куда благородней, шире и умней, чем те, кто ухитрился запасти кое-какие продукты. Молоденькие учительницы, чудик – старый учитель и шахматист Шпильберг, тихие библиотечарши, инженер Рейвич, который беспомощней ребенка и мечтает вооружить гетто самодельными гранатами, – что за чудные, непрактичные, милые, грустные и добрые люди.

Здесь я вижу, что надежда почти никогда не связана с разумом, она бессмысленна, я думаю, ее родил инстинкт.

Люди, Витя, живут так, как будто впереди долгие годы. Нельзя понять, глупо это или умно, просто так оно есть. И я подчинилась этому закону. Здесь пришли две женщины из местечка и рассказывают то же, что рассказывал мне мой друг. Немцы в округе уничтожают всех евреев, не щадя детей, стари ков. Приезжают на машинах немцы и полицаи и берут несколько десятков мужчин на полевые работы, они копают рвы, а затем через два-три дня немцы гонят еврейское население к этим рвам и расстреливают всех поголовно. Всюду в местечках вокруг нашего города вырастают эти еврейские курганы.

В соседнем доме живет девушка из Польши. Она рассказывает, что там убийства идут постоянно, евреев вырезают всех до единого, и евреи сохранились лишь в нескольких гетто – в Варшаве, в Лодзи, Радоме. И когда я все это обдумала, для меня стало совершенно ясно, что нас здесь собрали не для того, чтобы сохранить, как зубров в Беловежской пушце, а для убоя. По плану дойдет и до нас очередь через неделю, две. Но, представь, понимая это, я продолжаю лечить больных и говорю: „Если будете систематически промывать лекарством глаза, то через две-три недели выздоровеете“. Я наблюдаю старика, которому можно будет через полгода-год снять катаракту.

Я задаю Юре уроки французского языка, огорчаюсь его неправильному произношению.

А тут же немцы, врываясь в гетто, грабят, часовые, развлекаясь, стреляют из-за проволоки в детей, и все новые, новые люди подтверждают, что наша судьба может решиться в любой день.

Вот так оно происходит – люди продолжают жить. У нас тут даже недавно была свадьба. Слухи рождаются десятками. То, задыхаясь от радости, сосед сообщает, что наши войска перешли в наступление и немцы бегут. То вдруг рождается слух, что советское правительство и Черчилль предъявили немцам ультиматум, и Гитлер приказал не убивать евреев. То сообщают, что евреев будут обменивать на немецких военнопленных.

Оказывается, нигде нет столько надежд, как в гетто. Мир полон событий, и все события, смысл их, причина, всегда одни – спасение евреев. Какое богатство надежды!

А источник этих надежд один – жизненный инстинкт, без всякой логики сопротивляющийся страшной необходимости погибнуть нам всем без следа. И вот смотрю и не верю: неужели все мы – приговоренные, ждущие казни? Парикмахеры, сапожники, портные, врачи, печники – все работают. Открылся даже маленький родильный дом, вернее, подобие такого

дома. Сохнет белье, идет стирка, готовится обед, дети ходят с 1 сентября в школу, и матери расспрашивают учителей об отметках ребят.

Старик Шпильберг отдал в переплет несколько книг. Аля Шперлинг занимается по утрам физкультурой, а перед сном наворачивает волосы на папильотки, ссорится с отцом, требует себе какие-то два летних отреза.

И я с утра до ночи занята – хожу к больным, даю уроки, штопаю, стираю, готовлюсь к зиме, подшиваю вату под осеннее пальто. Я слушаю рассказы о карах, обрушившихся на евреев, – знакомую, жену юриконсульта, избили до потери сознания за покупку утиного яйца для ребенка; мальчику, сыну провизора Сироты, прострелили плечо, когда он пробовал пролезть под проволокой и достать закатившийся мяч. А потом снова слухи, слухи, слухи.

Вот и не слухи. Сегодня немцы угнали восемьдесят молодых мужчин на работы, якобы копать картошку, и некоторые люди радовались – сумеют принести немного картошки для родных. Но я поняла, о какой картошке идет речь.

Ночь в гетто – особое время, Витя. Знаешь, друг мой, я всегда приучала тебя говорить мне правду, сын должен всегда говорить матери правду. Но и мать должна говорить сыну правду. Не думай, Витенька, что твоя мама сильный человек. Я – слабая. Я боюсь боли и трушу, садясь в зубоврачебное кресло. В детстве я боялась грома, боялась темноты. Старухой я боялась болезней, одиночества, боялась, что, заболев, не смогу работать, сделаюсь обузой для тебя и ты мне дашь это почувствовать. Я боялась войны. Теперь по ночам, Витя, меня охватывает ужас, от которого леденеет сердце. Меня ждет гибель. Мне хочется звать тебя на помощь.

Когда-то ты ребенком прибежал ко мне, ища защиты. И теперь в минуты слабости мне хочется спрятать свою голову на твоих коленях, чтобы ты, умный, сильный, прикрыл ее, защитил. Я не только сильна духом, Витя, я и слаба. Часто думаю о самоубийстве, но я не знаю, слабость, или сила, или бессмысленная надежда удерживают меня.

Но хватит. Я засыпаю и вижу сны. Часто вижу покойную маму, разговариваю с ней. Сегодня ночью видела во сне Сашеньку Шапошникову, когда вместе жили в Париже. Но тебя ни разу не видела во сне, хотя всегда думаю о тебе, даже в минуты ужасного волнения. Просыпаюсь, и вдруг этот потолок, и я вспоминаю, что на нашей земле немцы, я прокаженная, и мне кажется, что я не проснулась, а, наоборот, заснула и вижу сон.

Но проходит несколько минут, я слышу, как Аля спорит с Любой, чья очередь отправиться к колодцу, слышу разговоры о том, что ночью на соседней улице немцы проломил голову старику.

Ко мне пришла знакомая, студентка педтехникума, и позвала к больному. Оказалось, она скрывает лейтенанта, раненного в плечо, с обожженным глазом. Милый, измученный юноша с волжской, окающей речью. Он ночью пробрался за проволоку и нашел приют в гетто. Глаз у него оказался поврежден несильно, я сумела приостановить нагноение. Он много рассказывал о боях, о бегстве наших войск, навел на меня тоску. Хочет отдохнуть и пойти через линию фронта. С ним пойдут несколько юношей, один из них был моим учеником. Ох, Витенька, если б я могла пойти с ними! Я так радовалась, оказывая помощь этому парню, мне казалось, вот и я участвую в войне с фашизмом.

Ему принесли картошки, хлеба, фасоли, а какая-то бабушка связала ему шерстяные носки.

Сегодня день наполнен драматизмом. Накануне Аля через свою русскую знакомую достала паспорт умершей в больнице молодой русской девушки. Ночью Аля уйдет. И сегодня мы узнали от знакомого крестьянина, проезжавшего мимо ограды гетто, что евреи, посланные копать картошку, роют глубокие рвы в четырех верстах от города, возле аэродрома, по дороге на Романовку. Запомни, Витя, это название, там ты найдешь братскую могилу, где будет лежать твоя мать.

Даже Шперлинг понял все, весь день бледен, губы дрожат, растерянно спрашивает меня: „Есть ли надежда, что специалистов оставят в живых?“ Действительно, рассказывают, в некоторых местечках лучших портных, сапожников и врачей не подвергли казни.

И все же вечером Шперлинг позвал старика-печника, и тот сделал тайник в стене для муки и соли. И я вечером с Юрой читала „Lettres de mon moulin“. Помнишь, мы читали вслух мой любимый рассказ „Les vieux“ и переглянулись с тобой, рассмеялись, и у обоих слезы были на глазах. Потом я задала Юре уроки на послезавтра. Так нужно. Но какое щемящее чувство у меня было, когда я смотрела на печальное личико моего ученика, на его пальцы, записывающие в тетрадку номера заданных ему параграфов грамматики.

И сколько этих детей: чудные глаза, темные кудрявые волосы, среди них есть, наверное, будущие ученые, физики, медицинские профессора, музыканты, может быть, поэты.

Я смотрю, как они бегут по утрам в школу, не по-детски серьезные, с расширенными трагическими глазами. А иногда они начинают возиться, дерутся, хохочут, и от этого на душе не веселей, а ужас охватывает.

Говорят, что дети наше будущее, но что скажешь об этих детях? Им не стать музыкантами, сапожниками, закройщиками. И я ясно сегодня ночью представила себе, как весь этот шумный мир бородатых, озабоченных папаш, ворчливых бабушек, создательниц медовых пряников, гусиных шеек, мир свадебных обычаев, поговорок, субботних праздников уйдет навек в землю, и после войны жизнь снова зашумит, а нас не будет, мы исчезнем, как исчезли ацтеки.

Крестьянин, который привез весть о подготовке могил, рассказывает, что его жена ночью плакала, причитала: „Они и шьют, и сапожники, и кожу выделывают, и часы чинят, и лекарства в аптеке продают... Что ж это будет, когда их всех поубивают?“

И так ясно я увидела, как, проходя мимо развалин, кто-нибудь скажет: „Помнишь, тут жили когда-то евреи, печник Борух; в субботний вечер его старуха сидела на скамейке, а возле нее играли дети“. А второй собеседник скажет: „А вон под той старой грушей-кислицей обычно сидела докторша, забыл ее фамилию, я у нее когда-то лечил глаза, после работы она всегда выносила плетеный стул и сидела с книжкой“. Так оно будет, Витя.

Как будто страшное дуновение прошло по лицам, все почувствовали, что приближается срок.

Витенька, я хочу сказать тебе... нет, не то, не то.

Витенька, я заканчиваю свое письмо и отнесу его к ограде гетто и передам своему другу. Это письмо нелегко оборвать, оно – мой последний разговор с тобой, и, переправив письмо, я окончательно ухожу от тебя, ты уж никогда не узнаешь о последних моих часах. Это наше самое последнее расставание. Что скажу я тебе, прощаясь, перед вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь, ты был моей радостью. По ночам я вспоминала тебя, твою детскую одежду, твои первые книжки, вспоминала твое первое письмо, первый школьный день, все, все вспоминала от первых дней твоей жизни до последней весточки от тебя, телеграммы, полученной 30 июня. Я закрывала глаза, и мне казалось – ты заслонил меня от надвигающегося ужаса, мой друг. А когда я вспоминала, что происходит вокруг, я радовалась, что ты не возле меня – пусть ужасная судьба минет тебя.

Витя, я всегда была одинока. В бессонные ночи я плакала от тоски. Ведь никто не знал этого. Моим утешением была мысль о том, что я расскажу тебе о своей жизни. Расскажу, почему мы разошлись с твоим папой, почему такие долгие годы я жила одна. И я часто думала – как Витя удивится, узнав, что мама его делала ошибки, безумствовала, ревновала, что ее ревновали, была такой, как все молодые. Но моя судьба закончить жизнь одиноко, не поделившись с тобой. Иногда мне казалось, что я не должна жить вдали от тебя, слишком я тебя любила, думала, что любовь дает мне право быть с тобой на старости. Иногда мне казалось, что я не должна жить вместе с тобой, слишком я тебя любила.

Ну, enfi p... Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь, кто окружает тебя, кто стал для тебя ближе матери. Прости меня.

С улицы слышен плач женщин, ругань полицейских, а я смотрю на эти страницы, и мне кажется, что я защищена от страшного мира, полного страдания.

Как закончить мне письмо? Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе? Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы.

Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой, ее никто не в силах убить.

Витенька... Вот и последняя строка последнего маминого письма к тебе. Живи, живи, живи вечно... Мама».

19

Никогда до войны Штрум не думал о том, что он еврей, что мать его еврейка. Никогда мать не говорила с ним об этом – ни в детстве, ни в годы студенчества. Никогда за время учения в Московском университете ни один студент, профессор, руководитель семинара не заговорил с ним об этом.

Никогда до войны в институте, в Академии наук не пришлось ему слышать разговоры об этом.

Никогда, ни разу не возникало в нем желания говорить об этом с Надей – объяснять ей, что мать у нее русская, а отец еврей.

Век Эйнштейна и Планка оказался веком Гитлера. Гестапо и научный Ренессанс рождены одним временем. Как человекен девятнадцатый век, век наивной физики, по сравнению с двадцатым веком – двадцатый век убил его мать. Есть ужасное сходство в принципах фашизма с принципами современной физики.

Фашизм отказался от понятия отдельной индивидуальности, от понятия «человек» и оперирует огромными совокупностями. Современная физика говорит о больших и меньших вероятностях явлений в тех или иных совокупностях физических индивидуумов. А разве фашизм в своей ужасной механике не основывается на законе квантовой политики, политической вероятности?

Фашизм пришел к идее уничтожения целых слоев населения, национальных и расовых объединений на основе того, что вероятность скрытого и явного противодействия в этих слоях и прослойках выше, чем в других группах и слоях. Механика вероятностей и человеческих совокупностей.

Но нет конечно! Фашизм потому и погибнет, что законы атомов и булыжников он вздумал применить к человеку!

Фашизм и человек не могут сосуществовать. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек, остаются лишь внутренне преобразенные, человекообразные существа. Но когда побеждает человек, наделенный свободой, разумом и добротой, – фашизм погибает и смирившиеся вновь становятся людьми.

Не признание ли это чепыжинских мыслей о квашне, против которых он спорил этим летом? Время разговора с Чепыжиным представлялось ему бесконечно далеким, казалось, десятилетия лежали между московским летним вечером и сегодняшним днем.

Казалось, что другой человек, не Штрум, шел по Трубной площади, волнуясь, слушал, горячо, самоуверенно спорил.

Мать... Маруся... Толя...

Бывали минуты, когда наука представлялась ему обманом, мешающим увидеть безумие и жестокость жизни.

Быть может, наука не случайно стала спутницей страшного века, она союзник его. Как одиноко чувствовал он себя. Не с кем было ему делиться своими мыслями. Чепыжин был далеко. Постоеву все это странно и неинтересно.

Соколов склонен к мистике, к какой-то странной религиозной покорности перед кесаревой жестокостью, несправедливостью.

В лаборатории у него работали двое превосходных ученых – физик-экспериментатор Марков и забулдыга, умница Савостьянов. Но заговори Штрум с ними обо всем этом, они бы сочли его психопатом.

Он вынимал из стола письмо матери и вновь читал его.

«Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто... Где взять силы, сынок...»

И холодное лезвие вновь ударило его по горлу...

20

Людмила Николаевна вынула из почтового ящика воинское письмо.

Большими шагами она вошла в комнату и, поднеся конверт к свету, оторвала край грубой конвертной бумаги.

На миг ей представилось, что из конверта посыплются фотографии Толи, – крошечный, когда еще голова не держалась, голый на подушке с задранными медвежьими ножками, с оттопыренными губами.

Непонятным образом, казалось, не вчитываясь в слова, а впитывая, вбирая красивым почерком неинтеллигентного грамотея написанные строки, она поняла: жив, жизнь!

Она прочитала о том, что Толя тяжело ранен в грудь и в бок, потерял много крови, слаб, сам не может писать, четыре недели температурит... Но счастливые слезы застилали ей глаза, так велико было мгновение назад отчаяние.

Она вышла на лестницу, прочла первые строки письма и, успокоенная, пошла в дровяной сарай. Там, в холодном сумраке, она прочла середину и конец письма и подумала, что письмо – предсмертное прощание с ней.

Людмила Николаевна стала укладывать дрова в мешок. И хотя доктор, у которого она лечилась в московском Гагаринском переулке в поликлинике ЦЕКУБУ, велел ей не подымать свыше трех килограммов и делать лишь медленные, плавные движения, Людмила Николаевна, по-крестьянски закряхтев, взвалила себе на плечи мешок, полный сырых поленьев, махом поднялась на второй этаж. Она опустила мешок на пол, и посуда на столе вздрогнула, зазвенела.

Людмила надела пальто, накинула на голову платок и пошла на улицу.

Люди проходили мимо, потом оглядывались.

Она перешла улицу, трамвай резко зазвонил, и вагоновожатая погрозила ей кулаком.

Если свернуть направо, то переулком можно пройти к заводу, где работает мать.

Если Толя погибнет, то отцу его это не будет известно, – в каком лагере искать его, может быть, давно умер...

Людмила Николаевна пошла в институт к Виктору Павловичу. Проходя мимо домика Соколовых, она вошла во двор, постучала в окно, но занавеска осталась спущенной – Марьи Ивановны не было дома.

– Виктор Павлович только что прошел к себе, – сказала ей кто-то, и она поблагодарила, хотя не поняла, кто говорил с ней – знакомый, незнакомый, мужчина, женщина, и пошла по лабораторному залу, где, как всегда, казалось, мало кто занимался делом. Обычно, так кажется, в лаборатории мужчины либо болтают, либо, покуривая, смотрят в книгу, а женщины всегда заняты: кипятят в колбах чай, смывают растворителем маникюр, вяжут.

Она замечала мелочи, десятки мелочей, бумагу, из которой лаборант сворачивал папиросу.

В кабинете Виктора Павловича ее шумно приветствовали, и Соколов быстро подошел к ней, почти подбежал, размахивая большим белым конвертом, и сказал:

– Нас обнадеживают, есть план, перспектива реэвакуации в Москву, со всеми манатками и аппаратурой, с семьями. Неплохо, а? Правда, еще сроки не указаны совершенно. Но все же!

Его оживленное лицо, глаза показались ей ненавистны. Неужели и Марья Ивановна так же радостно подбежала бы к ней? Нет, нет. Марья Ивановна сразу бы все поняла, все прочла бы на ее лице.

Знай она, что увидит столько счастливых лиц, она, конечно, не пошла бы к Виктору. И Виктор обрадован, и его радость вечером придет в дом, – и Надя будет счастлива, они уедут из ненавистной Казани.

Стоят ли все люди, сколько их есть, молодой крови, которой куплена эта радость?

Она с упреком подняла глаза на мужа.

И в ее мрачные глаза посмотрели его глаза – понимающие, полные тревоги.

Когда они остались одни, он ей сказал, что сразу же, лишь она вошла, понял – случилось несчастье.

Он прочитал письмо и повторял:

– Ну что же делать, боже мой, что же делать.

Виктор Павлович надел пальто, и они пошли к выходу.

– Я не приду уже сегодня, – сказал он Соколову, стоявшему рядом с новым, недавно назначенным начальником от дела кадров Дубенковым, круглоголовым высоким человеком в широком модном пиджаке, узком для его широких плеч.

Штрум, на мгновение выпустив руку Людмилы, вполголоса сказал Дубенкову:

– Мы хотели начать составлять списки московские, но сегодня не смогу, я потом объясню.

– К чему беспокоиться, Виктор Павлович, – баском сказал Дубенков. – Спешить пока некуда. Это планирование на будущее, я возьму на себя всю черновую работу.

Соколов махнул рукой, закивал головой, и Штрум понял, что он догадался о постигшем Штрума новом горе.

Холодный ветер носился по улицам, подымал пыль, то закручивал ее веревочкой, то вдруг швырял, рассыпал, как черную негодную крупу. Неумолимая суровость была в этой стуже, в костяном постукивании ветвей, в ледяной синеве трамвайных рельсов.

Жена повернула к нему лицо, помолодевшее от страдания, осунувшееся, озябшее, пристально, просяще всматривалась в Виктора Павловича.

Когда-то у них была молодая кошка, она в свои первые роды не могла родить котенка, умирая, она подползла к Штруму и кричала, смотрела на него широко раскрытыми светлыми глазами. Но кого же просить, кого молить в этом огромном пустом небе, на этой безжалостной пыльной земле?

– Вот госпиталь, в котором я работала, – проговорила она.

– Люда, – вдруг сказал он, – зайди в госпиталь, ведь тут тебе расшифруют полевую почту. Как это раньше не пришло в голову.

Он видел, как Людмила Николаевна поднялась по ступенькам, стала объясняться с вахтером.

Штрум заходил за угол, снова возвращался к подъезду госпиталя. Прохожие бежали мимо с сетками-авоськами, со стеклянными банками, в которых, в сером супе, плавали серые макаронины и картофелины.

– Витя, – окликнула его жена.

Он по ее голосу понял, что она овладела собой.

– Значит, так, – сказала она. – Это в Саратове. Оказывается, заместитель главного врача там был недавно. Он мне записал улицу и номер дома.

Сразу возникло множество дел, вопросов – когда идет пароход, как достать билет, нужно собрать вещи, продукты, надо одолжить денег, надо достать какую-нибудь командировку.

Уехала Людмила Николаевна без вещей и продуктов, почти без денег, на палубу прошла, не имея билета, в общей давке и суете, поднявшейся при посадке.

Увезла она лишь память о прощании с матерью, мужем, Надей в темный осенний вечер. Зашумели у бортов черные волны, низовой ветер ударил, завыл, подхватил брызги речной воды.

21

Секретарь обкома одной из оккупированных немцами областей Украины Дементий Трифонович Гетманов был назначен комиссаром формировавшегося на Урале танкового корпуса.

Прежде чем выехать на место службы, Гетманов на «дугласе» слетал в Уфу, где находилась в эвакуации его семья.

Товарищи, уфимские работники, заботливо относились к его семье: бытовые и жилищные условия оказались неплохими... Жена Гетманова, Галина Терентьевна, до войны отличавшаяся из-за дурного обмена веществ полнотой, не похудела, даже несколько поправилась в эвакуации. Две дочери и маленький, еще не ходивший в школу сын выглядели здоровыми.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.